

## УВИДЕТЬ ОБЛИК МИРОЗДАНИЯ

Для милых тебе и немилых —  
Как синий завет — небосвод.  
Но давит яремная сила  
И в пропасть, и в бездну ведет,  
Равняя незрячих и зрячих...  
Но и в окруженье невзгод,  
И даже из пропасти мрачной  
Увидишь лазурь-небосвод.  
И пусть даже долгая осень,  
Край осени скошен и гол,  
Но вышняя сила выносит,  
Рождая высокий глагол.  
Две силы, две воли-неволи?  
Мир светлый и темный — един:  
И нет его, счастья, без боли,  
А света — без темных годин.  
Так Слово — когда из согласных  
Иль гласных — в потере звенит.  
А мир и печальный прекрасен,  
Коль есть в нем земля и зенит.

Этим проникновенным стихотворным посвящением Виктор Будаков открывает свою книгу «Одинокое сердце поэта». Она об Алексее Прасолове, чье 90-летие отмечено 13 октября 2020 года. Само же документальное пове-

ствование написано и издано несколько лет назад, мгновенно растворившись из-за мизерного тиража в читательской среде и частью по библиотекам региона. Вот одна из причин, по которой наша редакция решила познакомить уже новое читательское поколение с некоторыми главами этого объемного исследования.

С другой стороны, «Одинокое сердце поэта» вышло из-под пера не просто писателя Виктора Будакова, а председателя комиссии по литературному наследию Алексея Тимофеевича Прасолова. И заслуга ценителя и хранителя этого наследия в том, что он сумел нас провести по знакомым и неведомым дотеле жизненным лабиринтам поэта, попытавшись раскрыть тайную магию его творчества — то, из чего рождается настоящая поэзия. При этом поражает искренность и правдивость повествования, когда автор без утайки говорит и о сокровенном, и о самом трагическом в бытовании воронежского поэта-самоходка.

Его жизнь изначально была наполнена трудностями и лишениями. Родился Алексей Прасолов 90 лет назад в селе Ивановка (ныне Россошанского района). Его отец, Тимофей Григорьевич, оставил семью, когда мальчику было около пяти лет. Вместе с матерью, Верой Ивановной, он оказался в селе Морозовка под Россошью, здесь пережили немецкую оккупацию. В 1947–1951 годах, несмотря на нищенское существование семьи, учился в Россошанском педагогическом училище. Затем полтора года учительствовал, преподавал русский язык и литературу в сельской школе. Первые журналистские заметки и стихи Алексей опубликовал в 1949 году в россошанской районной газете, где его заметил тогдашний редактор Борис Иванович Стукалин (впоследствии председатель всесоюзного Госкомиздата, дипломат и общественный деятель СССР). Он же спустя время пригласил Прасолова на работу и в областную газету «Молодой коммунар». Правда, в Воронеже тот не

задержался, по привычке окунувшись в районные будни, которые превратились у него в непрерывное кочевье из одной районной газеты в другую. Таких переездов у Прасолова с 1951-го по 1970 год позже насчитали аж 23! Дважды по пьянке и нелепым выходкам он попадал в тюрьму.

Большую роль в судьбе поэта сыграла критик Инна Ростовцева, которая способствовала его творческому контактам с редакцией «Нового мира», встрече с возглавлявшим тогда столичный журнал Александром Трифоновичем Твардовским. В августовском номере популярного литературного издания за 1964 год была опубликована большая подборка прасоловских стихотворений, которые сразу же обратили на себя внимание отечественных литераторов и критиков, поставивших провинциального автора в один ряд с крупнейшими поэтами страны.

При жизни Алексей Прасолов издал всего четыре поэтических сборника: в 1966 году «Лирика» — в Москве, «День и ночь» — в Воронеже, в Центрально-Черноземном книжном издательстве — «Земля и зенит» (1968) и «Во имя твое» (1971). Но его поэзия всегда выделялась на фоне массового невыразительного обильного стихоплетства, особняком держалась даже в ряду избранных. В начале 1980-х годов известный советский критик Вадим Кожин, составляя знаковый поэтический сборник того времени «Страницы современной лирики», на открытие поставил стихотворения Алексея Прасолова, подчеркнув в предисловии: «Тот, кто ждет от этой книги развлечения и поверхностных эффектов, может отложить ее в сторону. Но тот, кто готов потрудиться разумом и сердцем, будет щедро вознагражден — ему откроется полное смысла современное поэтическое творчество, которое способно помочь юному человеку утвердиться в жизни, определить свое отношение к миру...»

В этом ключ к пониманию поэзии Алексея Прасолова, которая, прежде всего, заставляет читателя думать, раз-

мышлять не только над обыденным, но и сакральным, космическим. Именно это старались разгадать в его творчестве литературоведы, критики, писатели, немало написавшие о самобытном поэте: критики Инна Ростовцева и Владимир Кожин, доктор филологических наук Анатолий Абрамов и Виктор Акаткин, писатели и поэты Юрий Кузнецов, Владимир Гусев, Петр Чалый, Владимир Саблин, учительница Надежда Тишанинова и многие другие.

Нужно также отметить особые заслуги и подвижническую многолетнюю работу по сохранению литературного, эпистолярного наследия А. Прасолова его вдовы, соратницы и книгоиздателя Раисы Андреевой-Прасоловой. В последнее время она выступила автором-составителем значительных книг о поэте, которые стали бесценным материалом для понимания его творчества и жизни.

Многое в этом же направлении дает и книга «Одинокое сердце поэта». Исследуя жизненные и творческие перипетии поэта, Виктор Будаков справедливо делает акцент на том, что поэзию Алексея Прасолова нельзя напрямую соотносить с каким-либо из тогдашних литературных течений — ни с андеграундом, ни с эстрадным направлением, ни с «тихой» лирикой, хотя, конечно,

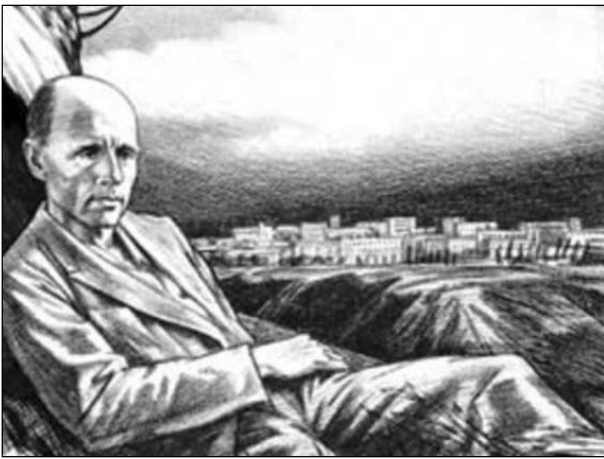
все эти деления в известном смысле условны. Многие критики отмечали, что стихи воронежского поэта-самородка тяготеют к редчайшему ныне жанру философской лирики и являются продолжением поэтических традиций Е. Боратынского, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Блока, Н. Заболоцкого... Прасолов проявляет себя как редкий мастер индустриального пейзажа, соединяя в нем природное и рукотворное, «день и ночь», «землю и зенит». Виктор Будаков в прасоловских строках указывает на особое чувство космизма: «В отечественном философском и поэтическом сознании, скажем, у любимого Прасоловым Есенина космос часто тепл, человечен, близок к земле... У Прасолова космос — лишь бесконечный космос, равнодушный или даже враждебно холодный, но могущий дать прозрень». Очевидно, в этом и заключается притягательная сила и магия этой поэзии, столь созвучной нынешнему, такому неоднозначному времени. И не случайно критики не раз называли Алексея Прасолова «поэтом XXI века», сумевшим ощутить тревожный пульс и увидеть облик мироздания грядущих эпох.

*Владимир НОВОСЕЛОВ*

## РАННЯЯ РУКОПИСЬ

**В** анкете при вступлении в Союз писателей СССР в графе «Начало литературной деятельности» Алексей Прасолов укажет год — 1949. В осенний дождливый день того года он передаст невзрачную ученическую тетрадь со своими стихами молодому, на шесть лет его старше журналисту Борису Стукалину, незадолго перед тем назначенному в Россошь редактором районной газеты «Заря коммунизма». Название этой газеты не раз менялось, она побывала и «Сталинской искрой», и «Ленинской искрой», пока не закрепилось расплывчатое, общепризывное — «За изобилие».

Позже Стукалин пройдет большой журналистский и издательский путь, станет союзным министром печати, а еще, что важнее, собирателем поэтических имен и страниц родной земли, чутким на литературные дарования, радеющим за них. Он подготовил к изданию творческое наследие своего друга — поэта Василия Кубанева, с которым до войны работал в острогожской районной газете «Новая жизнь» и который подавал надежду стать неповторимым явлением отечествен-



Алексей Прасолов

ной поэзии, однако угас в раннем, едва задвадцатилетнем возрасте. Но и то, о чем успел сказать Кубанев в свои двадцать, иным не поднять и за всю жизнь. Стукалин открыл Кубанева всесоюзному читателю.

Все это — впереди. А тогда, по приезду в Россошь, новый редактор районки был мало кому известен. Но, наверное, так естественно, так убедительно держался на встрече с учащимися — будущими педагогами, что Прасолов поверил ему порывисто и без оговорок.

С той невзрачной ученической тетради по-настоящему и началось. В россошанской районной газете появляются первые прасоловские стихи.

Скоро Стукалин переедет в Воронеж, возглавит областные редакции: сначала — «Молодого коммунара», затем — «Коммуну». И Прасолов станет писать ему в Воронеж, за исключением времени, когда сам на два с половиной года «увязнет» в областном центре. Письма-размышления, письма-диалоги. Зарисовки. И, разумеется, стихи. Целая рукопись.

На воронежской земле написанная, рукопись через долгие годы на воронежскую землю и вернется. В присланной из столицы бандероли — несколько десятков тетрадных листков, с двух сторон, за малым исключением, исписанных то размашисто-крупным, то утесненно-мелким почерком.

Из сопроводительного письма, «из первых уст», узнаем о начальных прасоловских поэтических опытах, шагах, вехах (письмо Б.И. Стукалина, 1997, октябрь — В.В. Будакову).

*«Мне не сразу удалось найти рукопись А. Прасолова. Мой личный архив разросся до немислимых размеров, к тому же он совершенно не упорядочен. Так что потребовалось немало времени на поиски. И вот, наконец, пожелтевшие от времени листки (им уже 40–48 лет!) — перед моими глазами, а теперь — и перед вашими.»*

*Что стоит сказать об этих рукописях? Их можно разделить (и по хронологии, и по содержанию) на две части — тетрадка со стихами, написанными в основном в 1949 году, и письма с вложенными в них стихами (1951–1956).*

*Вторая часть рукописных материалов сохранилась лишь частично. Писем и стихов было довольно много. К сожалению, большая их часть не сохранилась, а возможно, некоторые из них все-таки лежат среди моих бумаг (постараюсь продолжить поиски).*

*Что касается тетрадки со стихами, то история ее такова.*

*В 1949 году я был переведен на работу в россошанскую районную газету.*

Однажды (это было, кажется, осенью того же года) меня пригласили на встречу с учащимися педагогического училища. Не помню, как называлась моя лекция. Речь шла о юбилее какого-то писателя.

Аудитория оказалась любознательной. Вопросам не было конца. Даже после того, как истекло время, отведенное для лекции, я продолжал «отбиваться» от наиболее активных слушателей. Среди них был невысокого роста худощавый паренек с нездорово-бледным лицом. Он стоял молча и, видимо, ждал подходящего момента, чтобы обратиться ко мне. Когда такой момент наступил, я услышал негромкий глуховатый голос:

— Вот мои стихи, посмотрите и оцените. Моя фамилия — Прасолов. Алексей Прасолов.

В руках у него была тоненькая ученическая тетрадь. Я пообещал внимательно ознакомиться с рукописью и высказать свое мнение.

Как только выдался свободный час, раскрыл прасоловскую тетрадь. Стихи были довольно слабыми, ученическими, навеянными скорее атмосферой того времени, газетной публицистикой, чем собственными наблюдениями, потребностью сказать свое слово о происходящем вокруг.

Но встречались и вполне оригинальные строки, свежие образы, словесные находки. Чувствовалась склонность к обобщениям, что потом стало столь характерным для позднего Прасолова.

Я пригласил молодого поэта для обстоятельного разговора в редакцию. Как мог, убеждал его, что он может «петь» своим голосом, разрабатывать свои темы и придать по-своему, без подражательства кому бы то ни было. Предложил Алексею сотрудничество в газете.

С того времени мы встречались довольно часто, иногда засиживались до позднего часа в разговорах о поэзии, писательском мастерстве, долге литератора перед обществом и т.п. Каждое новое стихотворение Прасолова тщательно разбиралось в этих беседах. Некоторые из них отбирались для опубликования. Когда я уехал из Россоши, мы несколько лет переписывались. И это было как бы продолжение тех памятных бесед.

Алексей охотно сотрудничал в росошанской газете. Чаще всего сочинял стихотворные подписи под карикатурами, критические заметки и зарисовки, вроде сохранившихся в моих бумагах «С шапкой набекрень». Под влиянием дружеской критики и советов, а более всего в результате мучительных поисков и самоанализа Прасолов очень скоро понял, сколь несовершенны его творения и как они далеки от созревших в то время замыслов. Его тянуло к философской лирике тютчевского толка, к постижению сокровенных глубин человеческого бытия.

Когда спустя три года после знакомства с Прасоловым я переехал в Воронеж, став редактором «Молодого коммунара», то сразу же пригласил его работать в редакцию. Должности литературного сотрудника свободной не оказалось, поэтому Алексея для начала зачислили корректором. Он некоторое время корпел над газетными гранками, выполняя довольно изнурительные при его нездоровье обязанности. В литературную среду областного центра входил трудно. Долгое время держался особняком.

В те годы я работал над первым сборником стихов и прозы Василия Кубанева. Шли напряженные поиски, казалось, полностью погибших рукописей. Алексей был в курсе моих усилий и с искренней радостью, прямо-таки с восторгом воспринимал каждую новую находку, старался поддержать меня. Упоминаю об этом потому, что в его письмах ко мне часто затрагивалась кубаневская тема.

Позже, когда Прасолов, не найдя своего места в Воронеже, разочаровался в нравах, царивших тогда в литературной среде, покинул город, наша переписка

*возобновилась. Очень жалую, что не сохранил письма Прасолова, стихи и вырезки из газет, в которых он работал. Это уже был иной Прасолов, много испытавший и переживший...»*

Ранняя прасоловская рукопись (хранится теперь в фондах Воронежского областного литературного музея имени И.С. Никитина) была опубликована частично в воронежской газете «Коммуна», 1988, 30 апреля; более полно — в ростовском журнале «Дон», 1988, № 8; наконец — в сборнике произведений Алексея Прасолова «И душу я несу сквозь годы...», Воронеж, 2001...

В письмах, да и стихах Прасолов открывается биографически: здесь штрихи его не столь долгого учительствования, с которого начиналась его общественно-трудо-вая страда. Но прежде всего в рукописи воочию видишь творческие начала, смысловые и стилевые поиски молодого автора. По мысли, по сердечному впечатлению здесь нет строк, за которые было бы неловко. Содержание их — труды человека и страны, чистая мечта и страсть молодого сердца. Здесь живое чувство родного поля, отчего края, села с хатами-мазанками, где «люди все — как из одной семьи». Не ложен и молодой пафос строительства, пусть последний и пронизанный тогдашними пропагандистскими токами; но ведь пафос-то строительства, а не разрушительства. Все вбирается поэтической душой — память войны, колхозные будни, полевая страда, постройка хаты для одинокой птичницы, строительство Волго-Дона...

«Бесстрастным поденщиком никогда не буду», — убежденно заявляет в письме молодой поэт. В стихах — открытое, искреннее чувство. Их наивность пройдет, придет строга я глубина. Страницы рукописи свидетельствуют о требовательности автора к себе. Строки, которыми он удовлетворился не вполне, подчеркнуты как подлежащие правке. Таковых строк немало. Но есть и иные — провозвестники зрелого стиха. «И хлеба в безмолвии подняли в синеву зеленые штыки» — здесь уже угадывается прасоловское позднее: «И трав стремленье штыковое...»

Это начало, которое обещает многое. Строка — словно птица на взлете. Когда взлетит — откроет даль и высь.

«К старому возврата больше нет» — такими словами из есенинской поэтической строки, переведенными в строгую строку письма, заканчивается ранняя прасоловская рукопись.

## СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ

1 июля 1951 года в Россошанском педучилище был выпускной вечер — со всем, что выпускным вечерам сопутствует: прощальный вальс, полночное грустно-веселое гулянье по улицам и в городском парке, прогулка к берегу речки. И голос девушки — то была Ольга Хуторная, — невозвратно удаляющийся голос.

А скоро Алексей провожал своих — большую часть группы — на Алтай, напутствовал отъезжающих шутливым и длинным стихотворением, в каком зывал: «За трудом и недосугом, иль за выбором невест не забудьте имя друга и родных наших мест».

В час отъезда друзей-выпускников был грустен, все повторял, что со многими уже не доведется свидеться.

Так и случилось.

Полтора года Прасолов учителем в россошанской округе — в семилетних школах в селах Первомайское и Шекаловка. В учительстве добросовестен и заметен. В пятьдесят втором он даже пишет «Сентябрьским днем» — прямо-таки гимн учительскому делу. Ученики его любят. Отцы-матери учащихся уважают за крепкое крестьянское начало: в доме, где квартирует, всегда дров наколет, воды принесет, калитку починит, плетню не даст упасть.

Но молодой учитель не чувствует свое учительство как главное дело будущей жизни. Еще когда были дни практики в родной Морозовской школе в марте 1951 года, он тем же месяцем посчитал необходимым без долгих проволочек объяснить свое состояние в письме к недавнему преподавателю, а теперь другу Михаилу Шевченко: «В классе чувствуешь себя как дома, среди своих... Несмотря на все это, особого пристрастия к школе я не имею. Давал уроки — умело играл роль учителя. А все потому, что не мое это дело. И я думаю: лучше быть заурядным учителем (но имеющим к своему делу сердце), чем быть незаурядным игроком в учителя».

О пребывании и учительствовании в Первомайском будущий поэт пишет неизменно своему наставнику (письмо Б.И. Стукалину, 1951, октябрь).

*«После долгого упорного молчания, наконец, пишу вам обо всем вкратце, что мною сделано, видно, пережито. Два месяца, как я учитель. Классы здесь тяжелые и в отношении успеваемости, и дисциплины. В моем — 5-м “А” — большая половина учеников из соседнего села Лещинково (в пяти км от Первомайска). Работа с их родителями трудна. Однажды пошли организовывать родительское собрание — и ни один из родителей, зная об этом, не явился. Незначительность. Но все-таки народ здесь золотой... Колхоз — настоящий со стороны организации. У людей нет никаких иных забот и дум, как только о нем. По сравнению со здешним, наш колхоз — проходной двор, где находят пристанище заматерелые дельцы. Здесь делец — что муха в сметане. Был председатель плут, грубиян, можно сказать, бандит (в войну расстрелял одну колхозницу — будто бы невзначай) — сбросили его всем колхозом, добрались до районного бюрократического гнезда и разворошили его, пожаловавшись “в область”. Они были заодно с этим председателем. Это мне рассказывали.*

*Живу я на квартире у конюха Шевченко. Типичные колхозники. Он воевал и в гражданскую, и в эту войну пулеметчиком. Он имеет награды за боевые подвиги, хозяйка — за трудовые. Живем мирно и согласно. Скоро откроется охотничий сезон, и я с дядькой пойду на охоту с шомпольным ружьем. Он заключил договор на три месяца, — так у него заведено — каждый год брать обязательство добыть пушнины на столько-то рублей. Одно время он был на втором месте по Воронежской области.*



А. Прасолов  
(второй справа) —  
студент Россошанского  
педучилища

*Я постоянно работаю над той повестью и другими вещами — стихами и презренной прозой. В следующем письме пришлю Вам... главу, которую Вы веселой разгромили. Обработаю “доотказа”.*

*А сейчас попотчю Вас плодами своей бессонницы и “вдохновенных трудов”.*

Далее следуют стихи: «Радуга», «Давно уж ночь, а матери не спится...», «Криница», «В универмаге».

В конце письма — приписка: «Брат мой приехал 29 августа. Был в станице Вешенской, работал прицеппчиком. (Попал туда под влиянием “Тихого Дона”, что я ему кое-когда читал.) Видел М.А. Шолохова на первомайских скачках. Одна казачка, у которой он жил, хотела его усыновить, но он после 5 месяцев приехал домой. Учитя в школе рабочей молодежи на станции Россошь. Интересная натура! Ей-богу. Пешком шли они вдвоем до самой Вешенской: вдоль по Дону!..»

А о кратком учительствовании Прасолова в Шекаловке рассказывает письмо тогдашнего завуча школы — свидетельство большее, нежели казенная справка об учителе и школьной жизни (письмо В.Ф. Бутко, 1987, январь — В.В. Будакову).

*«Обычно в середине августа прибывают молодые учителя, только что окончившие педучилища и пединституты. В августе 1952 года приехал в Шекаловскую семилетнюю школу и Прасолов учить детей русскому языку и литературному чтению. Шекаловка находится в двадцати семи километрах от Россоши. Село отдаленное, глубинка. В пятые-седьмые классы ходили дети из десяти хуторов кроме Шекаловки. Алексею Тимофеевичу дали русский язык и литературное чтение в пятом и шестом классах. Я, работая завучем школы, по долгу службы контролировал работу учителей, помогал молодым. Посещал уроки и Прасолова. К урокам он готовился добросовестно, хотя программный материал знал отлично, писал подробные поурочные планы и в моем присутствии строго придерживался их. Сказались характер Алеши, трудолюбие, воспитанность, а также педагогическая подготовка, полученная в Россошанском педучилище. Отличался Прасолов эрудицией, начитанностью. Он знал наизусть уйму стихотворений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока... Кумиром у него был Есенин, с томиком которого он никогда не расставался.*

Во время моего посещения уроков русского он проводил их методически правильно, примеры придумывал на ходу, его память хранила бесчисленное количество примеров на любое грамматическое правило. На уроках литературного чтения много читал наизусть... Дети любили своего учителя, он их тоже любил. А большинство детей были полусироты: у многих отцы остались на полях сражений Великой Отечественной войны.

В то далекое время мы были молоды, много свободного от работы времени отдавали культурно-массовой работе, ставили пьесы, организовывали концерты, выступали с лекциями и докладами. Прасолов читал стихи Есенина, Блока, свои стихи. Колхозники с удовольствием посещали наши концерты, благодарили нас. На такие концерты в хутора, в четырех-пяти километрах от Шекаловки, мы ходили пешком, после работы, возвращались ночью, не чувствуя усталости, довольные тем, что принесли какую-то радость людям.

В то далекое время Алеша был человеком общительным и жизнерадостным... Полюбил он и девушку, часто проводил с ней свободное время, читал ей стихи. Этой девушкой была примерно того же возраста учительница истории Хаустова Александра Васильевна. Но не ответила она взаимностью, любовь, что называется, не состоялась.

Со мной у Алексея Тимофеевича отношения были чисто деловые: во мне он видел старшего товарища, завуча, прислушивался к моему мнению, к моим замечаниям. Свободного времени у Прасолова было много, и этим свободным временем он не всегда мог распорядиться умело. Уже тогда он мог беспричинно



*после работы выпить, а на второй день ходил как побитый. Директор школы и я за это по головке не гладили, ругали, разъясняли, что выпивка ни к чему хорошему не приведет. Алексей Тимофеевич слушал, соглашался, никогда не противоречил, обещал не пить. Но проходило какое-то время, и он срывался...*

*Работу учителя Алексей Тимофеевич не любил. Буквально с первых дней он просил отпустить его в "Молодой коммунар" — туда его приглашал, если не ошибаюсь, Борис Стукалин. Просьбы становились все настойчивее. В конце декабря 1952 года директор школы, посоветовавшись со мной, отпустил Прасолова...»*

Шекаловка не могла стать пристанью молодому поэту, который держал весло назготове и все время порывался плыть дальше. В селе Прасолов не встретил души, которая бы стала родственно близкой, сердца, которое бы страстно потянулось к его сердцу. Люди вокруг — и учителя, и колхозники — были всякие, но чаще — трудяги и разумники, доброжелательные и отзывчивые. Днем, в совокупной деловитости, занятости, этого вполне хватало, чтоб не чувствовать себя одиноким. Но вечера и ночи часто принадлежали его одиночеству.

У одиночества и памяти свой курс. Десять лет прошло после оккупации, а перед глазами — как вчерашнее: черное углице слободы, погибшие вразброс на белых снегах — холодный триумф смерти. И страдница-мать. Оставленная мужем. Поруганная нашествием.

«Солнечное государство» детства он создал только в мечтах — «в мечтах, не сожженных дотла». Солнечная детская страна — такая бедная придумка, фантазия, утопия, как сама древнегреческая повесть «Солнечное государство», к которой скорее всего и восходят прасоловская метафора, прасоловский образ. Не было солнечного начала даже в детстве.

Однажды познав иллюзорное освобождение, даваемое спиртным, и теперь имея деньги, чтобы его добыть, молодой учитель в Шекаловке все ближе подступался к зеленому омуту. Хмелел — прошлое и будущее отпускали, теряли власть, стусывались. И во всю даль вставал его мир — воображенный и реальный. И словно вел поэта двойник.

Поэт, когда его забирал хмель, никогда не писал стихи, словно стыдясь оскорбить музу другим, на себя не похожим Прасоловым. Теряющим свою внутреннюю строгость. Словно бы кем-то подмененным. А может, в такие часы высокая его муза хранила от неверной строки.

Он видел далекие страны, города, моря. Далекие и близкие лица. Вычитанные в книгах или однажды увиденные на полотнах художников, в кино, они шли к нему... За околицей было много простора. Земля в травах и небо в звездах имели свои, обращенные к нему голоса. Он слышал их, понимал, он верил, что все — именно так.

«И непокоренный простор мирозданья — родная стихия моя», — заявит чуть позже. Это строки из стиха, предворяющего прасоловские космические мотивы. Существует и иная концовка, где авторская уверенность своими кипящими силами познавать и проникать тайны сердец, простор мирозданья остужается конечной строкой о том, что в мирозданческой бесконечности «...мы не оставим следа».

В пору учительства в Шекаловке в стихотворении «Ты Расскажи мне, Сент-Экзюпери...» молодой поэт называет мир ненадежным. Он понимает, ощущает это неумолимое единство: коль есть посланник зари — Маленький Принц, есть и принц Тьмы.

Но почему его так тяготит педагогическое дело? Не редкость, когда учителя, да и врачи и ученые — одновременно и писатели, художники, поэты. Разве дети поэтическому состоянию не во благо: они вдохновляют, они же — «цветы жиз-

ни»? Почему же тогда он рвется из школы как из брошенной на него сети? Или в нем уже прочно, неизгладимо поселилось чувство беды? Ощущение бездны, конца? И он не хочет брать ответственность за детскую душу, за ребенка: вдруг да нечаянно передаст ему это чувство беды? А чувство сиротства? Как у Платонова, оно у него и частное, и всемирное. Он сирота-поэт, хотя понимаем, принимаем хорошо и в семье, и в селе, и в училище, и в учительской среде. Сиротство от войны и разрухи, от безотцовщины, от бездолицы исподволь и неотступно преследует его, и он, чистая и строгая душа, боится, быть может, выплеснуть нечаянно горькие слова, чувства беды, обездоленности, сиротства хрупким деревцам — детшкам?

## ВОРОНЕЖ — ГОРОД ПОЭТОВ

В 1987 году, будучи избранным председателем комиссии по литературному наследию Алексея Тимофеевича Прасолова, я обратился к писательской общественности и в Воронежский горсовет с письмом об увековечении памяти поэта; для начала — установлении мемориальной доски в городе, где он закончил земные дни.

В феврале 1996 года (скоро сказка сказывается) мемориальную доску установили — на бывшей Большой Дворянской, на бывшем губернаторском доме (проспект Революции, 22). По строгой памяти, ей бы надлежало быть многоименной: после войны в левом крыле большого двухэтажного здания располагалась редакция «Молодого коммунара», где работали Михаил Домогацких, Иван Сидельников, Борис Стукалин, Владимир Кораблинов, Василий Песков...

Немалые дружины всякого рода дарований, как истинных, так и мнимых, во все времена устремляются из весей во грады, из провинций в столицы с честолюбивыми надеждами если не «покорить Париж», то хотя бы заявить о себе на его шумных ристалищах. Прасолов — не из числа подобных Ростиньяков, готовых во имя житейского и художественного успеха поступиться многим, что дают почва, родители, детство, отчий край. И все же предложение нового, более чем просто знакомого редактора «Молодого коммунара» — перебраться в Воронеж, поработать в молодежной газете — сельский педагог принимает с радостью: хочется непосредственной работы со словом, а газета — что-то вроде фабрики слова, пусть и суетного, информационно-злободневного; но выпадает же и на газетной странице истинная поэтическая строка, художественный образ, мысль глубокая.

Прасолов приехал в Воронеж в январе 1953 года. Месяц в месяц десять лет минуло с той поры, как город, спешно оставленный немцами из-за угрозы попасть в «котел», стал снова нашим. Развалины под снегом громоздились безмолвными, угрюмыми торосами. Более полугода Воронеж страдал на фронтовом рубеже, будто на краю гибели. Его кварталы весь июнь сорок второго бомбили воздушные армады «юнкерсов», его улицы проутюжили черные танки с белыми крестами. И город стал — как мертвый. Не выстроить ли новый Воронеж на новом месте? В конце войны обсуждалась в верхах даже и такая мысль, для исторической памяти города обидная и несправедливая.

Драма Воронежа, в трагические летние дни сорок второго брошенного убегающими властями, драма города, который дважды и безуспешно советские дивизии пытались отвоевать лобовыми контрастными ударами, явились чуткому сердцу. Еще не встали мемориальные ансамбли и одиночные памятники на площадях и плацдармах, позже тысячекратно растиражированные в разного рода изданиях (один из них — памятник на Задонском шоссе — даст импульс поэту к стихотворению «Вечный огонь»), но сам город, при внимательном взгляде, все еще был как памятник войны и беды.

Скоро Воронеж откроет недавнему дореволюционному учителю и историческую свою даль. Не из корневых старорусских городов вроде Новгорода, Суздаля, Рязани, даже близкого Ельца, он все же таил немалое историческое своеобразие. Сторожевая, защитная крепость на порубежной черте, на краю Дикого поля, на южной окраине Московской Руси; всероссийская верфь — Петровских времен «великое корабельное строение»; как бы казачья столица, не одно десятилетие снаряжавшая донские отпуски в низовые казачьи земли. Вдобавок: город, неповторимый своим нором, прираставший отчаянным сбродным людом — беглым. Кто бежал от государевой, царевой длани, боярской, помещичьей расправы, кто от причиненного ему зла, а кто от зла, им самим учиненного, кто был праведник, а кто — и сам черт бы ему не обрадовался. Склонность к своеволью и бунтарству выплывала не раз, и залетные зазывальщики с «прелестными» письмами от Болотникова, Степана Разина, даже Лжедмитрия находили здесь руки, готовые схватиться за оружие, какое ни подвернись.

Но был еще Воронеж — город муз. Город, поэтичный своим названием, месторасположением, именами. Кольцова и Никитина — народных поэтов Руси — знал с детства едва не каждый русский ребенок. У Алеши в его сиром безотцовском школьном начале хранилась и бережно им перечитывалась книжица кольцовских стихотворений. Так что у мраморного бюста в Кольцовском сквере молодой Прасолов отдал поклон поэту-прасолу как давнему и дорогому знакомому.

Достоинными поэтическими именами город был отмечен и до Кольцова, и после. «И трудности пути и холод позабуду, иззябну, изобьюсь, — но к вам в Воронеж буду», — в родной город слал стихотворное послание земляку поэт-ратник, поэт-сатирик Сергей Марин, создатель «Марша Преображенского полка», который распевался во всех полках русского воинства в заграничном антинаполеоновском походе и в Отечественной войне 1812 года.

Старший друг и наставник Кольцова — Андрей Серебрянский, это его «Быстры, как волны, дни нашей жизни» одно время являлись любимой песней русской студенческой молодежи.

Кондратий Рылеев, Дмитрий Веневитинов, Николай Станкевич... Что ни имя — сильный колос на ниве отечественной словесности!

Николай Костомаров, историк и поэт, создавший труды и баллады на украинском и русском, даже родом был из одного уезда с Прасоловым!

Уроженцы Воронежа Иван Бунин и Андрей Платонов свой литературный путь также начинали с поэтических интонаций и строк. А сосланный в Воронеж Осип Мандельштам, что был «около Кольцова, как сокол, окольцован»? И приезжавшая в Воронеж, чтобы поддержать опального поэта, Анна Ахматова. По воле времени, предававшего забвению многие значимые, но вне общего идеологического русла или чем-либо иным власти неугодные имена, Прасолову остался неведом Евген Плужник, поэт, дни свои завершивший на Соловках (воронежцы узнали о нем лишь в девяносто годы, когда в Воронеже в переводе на русский был издан



А. Прасолов — корреспондент районной газеты

часник его стихотворений «Равная осень»). А Евген Плужник — руку протянуть — земляк Алексея Прасолова: его Кантемировка — в нескольких десятках километров от прасоловской Ивановки. Близость их — не только пространственная: у обоих — трагические ритмы и трагическая мысль, глубокое чувствование народной беды и даже беды всемирной, разлома изначальных, онтологических сфер бытия.

И был в городе поэтов в ту пору, когда молодой сельский учитель попытался обосноваться здесь, действительно поэтический уголок — именно «Молодой коммунары». Разумеется, никуда было не деться от редакционной поденщины, но она счастливо дополнялась и облагораживалась духом муз.

Возглавив областную молодежную газету, Стукалин объединил вокруг редакции творчески одаренные личности. Позже они обрели российскую известность. Владимир Кораблинов — художественный летописец воронежского края, автор книг о Кольцове и Никитине, а тогда работал за редакционным столом художником-ретушером. Василий Песков — автор книги о родине «Отечество», полсвета объехавший и о том рассказавший журналист, писатель-эколог, а тогда — фотокор и заведомом культуры в редакции молодежной газеты.

Забредали на «коммунаровский огонек» тогда еще только начинавшие литературный путь Николай Коноплин, Анатолий Жигулин, Михаил Тимошечкин. Частыми гостями были Гавриил Троепольский и Алексей Шубин, Анатолий Абрамов и Юрий Гончаров, Ольга Кретова и Виктор Петров... Редко кто из литераторов или тянувших к художественному, поэтическому слову хотя бы раз в месяц не открывал гостеприимные двери «Молодого коммунара».

Казалось бы, здесь-то и «пристанище твоей мечты», более позднего времени прасоловской строкой выражаясь. Однако вчерашний сельский педагог без юношеского пыла воспринял творческую редакционную обстановку. Принял — как должное. Каким он по первому впечатлению показался бывалому литературному человеку? Стеснительный, неловко чувствующий себя в городских стенах сельский житель? Эдакий не обремененный грузом познаний худотелый пастушок с серыми внимательными глазами, обреченный тосковать по выпасным буграм и незатейливой жалейке? Но в этом «пастушке» обнаружилась завидная историко-культурная подготовка, почти энциклопедическая начитанность. И скоро в литературной среде образ нового служителя слова или же молодого собрата (кому как!) в общих чертах и границах был определен. Серьезен, душевно искренен, но душу, как распашонку, не раскрывает; эрудирован, но знаний своих в наспах затеянном споре не выплескивает; замкнут и предпочитает больше слушать или молчать, думая о своем, нежели говорить в ряду говорливых. Решительный нелюбитель шумных, пустотрескучих компаний, кто бы ни пиршествовал за едой или словом, будь там хоть приманчивейший цветник жаждущих расцвести дарований.

Все было так и не так. Куда улетучивались Алексеева замкнутость, малоразговорчивость, стесненность, когда Прасолову выпадал час или вечер, как в прежнем россосанском далеке, остаться наедине со Стукалиным. И снова и снова не беседовать, а выговариваться умом и сердцем о поэтическом, бытийном, даже — бытовом. Жаль, что таких часов не могло быть много: редактору часто приходилось отсутствовать — бывать в отъездах, командировках, постоянно где-нибудь представлять.

Песков тоже днями пропадал в глубинке — в поисках материала о культурной или бескультурной жизни молодежи; а еще фотокамерой добывал сюжеты — будущие снимки, на которых, словно бы тайной силой вызванные, запечатлеются «души милые людей, зверей и птиц», как позже скажет Прасолов в посвященном Пескову стихотворении. Когда же оба были в редакции и выкраивался свободный час — говорили, не успевая наговориться. Необходимыми друг другу их делади

молодость, творческие токи, чувств природы и родного края; хотя во многом они были разные и по-разному у них шло постижение мира: один — в загоризонтную даль, другой — в заоблачный зенит.

А художник-ретушер Владимир Кораблинов никуда из редакции не выезжал, с утра до вечера просиживал за большим столом, перегруженным стопами увесистых книг, кипами фотографий, изрисованных листов, газетных, журнальных вырезок, и казалось, что небольшая комната с большим столом и есть его дом родной.

Прасолова потянуло — не могло не потянуть — к Кораблинову. На ту пору Владимир Александрович был в два раза старше Алексея. Нес он в себе очевидный душевный свет, неизменно в нем выказывались отзывчивость, чуткость на страданье, терпимость, выпестованные в духовном сословии: отец служительствовал священником в близворонежском селе Углянец, покуда храм после революции не закрыли. Был Кораблинов также и кладезем знаний. Позже Песков в воспоминательном очерке о начале своей журналистской стези назовет его «человеком-университетом». Таковым Кораблинов стал и для Прасолова. Он повидал многое и многих. Встречался с Маяковским, печатался в его «Новом лефе», был знаком с Воронским, Платоновым, Пильняком. Проехал полстраны. За географическими названиями сквозило пережитое. Дон — здесь, в селе Костомарово, на свадьбе старшего брата, вскоре погибшего при отступлении денкинских войск, видел он в один день, как налетели белые — словно чужие, и как налетели красные — словно чужие; для кого же она мать родная — война Гражданская? А мирный тридцатый год — разве не война? С крестьянами, с духовным сословием, с «бывшими»? И ему — три года тюрьмы, ссылки зауральской, сибирской... статья политическая, пятьдесят восьмая, обвинение — мифический противосоветский монархический заговор. После Сибири жил, работал на Волге: в тяжелую пору приволжские город и деревня предоставили Кораблинову свой кров.

Оба приходили в редакцию в ранний утренний час, когда здесь было непривычно тихо, да и городские ритмы и шумы еще не набрали разбег. Кораблинов принимался за ретушь или рисунки, а Прасолов — расспрашивал, и широкого размаха был его «вопросник» — от Рафаэля и Рембрандта до живописи передвижников и импрессионистов, от судеб древних придонских племен до будущего одной шестой части земного шара, от дорог Гражданской войны до названий городских улиц. Но больше всего — о писателях. Художник рассказывал о поэтах Серебряного века, о Блоке, Бунине, Платонове. Сходились на Маяковском, расходились на Есенине: у Кораблинова отношение — сдержанное, для Прасолова же создатель «Анны Снегиной» — среди поэтов первых и любимых.

Однажды Алексей вызвался почитать стихи. До этого Кораблинов их не слышал, и он с радостным удивлением почувствовал, что они — не подобным подобные, почувствовал, как прасоловской мысли тесно в ритмических границах стиха, как она, благодарно оглядываясь на поэтическую традицию, тянется к новому если не по форме, то по сути. Немного было истинно прасоловских строк — резких, упругих, афористичных, но художник, прочитавший за свою жизнь бездну плохих, хороших и прекрасных стихов, в услышанных без труда разглядел искру Божью. Печатать их молодой поэт не торопился, он за два с половиной газете отданных года не опубликовал и десятка их. Кораблинову же читал свои стихи еще не раз, комментируя их, подчас споря с ними, а то и вовсе считая их своей неудачей; но требовательно-строгим и благожелательным оценкам своих стихов человеком, печатавшимся у Маяковского и Воронского, внутренне был рад и признателен.

Говорили о стихах. Говорили об ушедших и живущих. Говорили о временах. Город у реки, на приречных буграх и в приречных логах, и город на главной пло-

щадя, на центральный проспекте жили словно бы в разных веках. Полынным, пороховым, старинным веяло от названий: Стрелецкий лог, Острожный бугор, Пушкарская улица, Ямская слобода, Терновая поляна; и уже вовсе труднопроницаемым туманом древности окутывались Хазарский брод, Чертовичье городище, Частые курганы. Древнее время — тайна. Но и день нынешний — тайна. И как тогда увидеть единое время во всей его протяженности, как если бы ровное поле? Время бесконечное, вечное, но и замкнуто обозреваемое, спрессованное — «И годы — часами, столетия — днями несутся тогда на меня...»

В городе подобрался любимые старинные уголки, где Прасолов бывал иногда с Кораблиновым, чаще — один. На лобастых приречных буграх, увиденных чутким историческим зрением создательницы «Реквиема» — «и Куликовской битвой веют склоны могучей победительной земли», — время пружинисто стягивалось, открывая и свое прошлое, и свое будущее. Чем-то давнобылым, раннедетским дышал приречный, в лозняках, многоцветный луг, и словно из того же детского далека звал Чернавский мост, хотя детский, росошанский — был совсем иным. Незадолго до отъезда из Воронежа поэт даже пошлет приветствие Чернавскому мосту в лирическом стихотворении — «Затих бессонный шум вокзала, / Привет тебе, Чернавский мост!»

Петровский сквер — и вовсе в полусотне метров от редакции. Красной глыбой, гранитным из-под Павловска монолитом вздымался посреди сквера монумент, сиротски ущемленный, обворованный, нелепый без фигуры бронзового Петра Великого, увезенного оккупантами и где-то переплавленного, может быть, даже на оружейный ствол, нацеленный против потомков российского самодержца. И поэт, размышляя о превратностях судьбы, не щадящей ни сирых, ни сильных мира сего, мысленным взором все-таки видел царя — на верфи. Видел речные струи, видел Ногайскую сторону — уходящую за горизонт левобережную степь. И степь являла не просто даль пространственную и временную, но словно бы саму вечность!

Глубже знать историю, чтоб лучше понимать ныне текущее и видеть будущее? Прасолов без особой затяжной подготовки поступает в Воронежский университет — именно на исторический факультет, вернее, на историко-филологический, тогда еще не разделенный. Вскоре так же легко и расстается с ним — уходит бесповоротно. Кораблинову свой резкий шаг объяснил тем, что многое из того, что там преподают, он уже знает, а чего не знает — можно изучить и без университетских штудий: книг в библиотеках достаточно.

Позже об этом сгоряча сделанном шаге он жалел.

Университет, театры, музеи, музыкальные ансамбли и оркестры — много муз, много искусства. Много приманчивого в городской жизни. И однако город стал тяготить его уже с первых месяцев. Что здесь? Нелюбимая работа? И она — тоже. Изо дня в день, из месяца в месяц поэта иссушали скучные, скрупулезные ректорские обязанности; всякий раз — четыре газетных полосы. Сотни строк, и каждая словно молчаливо испытывает: ошибки не замечаешь? Ошибка и во мне спряталась! А время еще было такое, что неувиденная опечатка, смена буквы, отчего, скажем, славный путь превращался в плавный, могла обойтись дороже дорожного. И за этим слововычитанием, буквопоеданием уже тяжело и невдохновенно было думать о сущем, главным, что требовал, чем жил разум.

И стихи давались все труднее, словно оборвалась некая его пуповина с настоящим и основным миром, и все строки, как верные птицы, улетели туда, где вдоволь земли и неба, где звенит коса на хлебной ниве.

Уже через три «воронежских» месяца в письме к Михаилу Шевченко он пишет не без горечи и усталости: «Тут и птиц почти нет. Вместо них звенят деньги, свистки на перекрестках». Никогда не бывал Воронеж Городом Желтого Дьявола, но и обычный, не преизбыточный монетный звон поэту враждебен. Разумеется, без

них, на различных языках звучащих по-разному, но одинаково цепко ухвативших человека и человечество, шага не ступить, хотя оттого знаками чести и добродетели они не станут никогда.

Редакции выделили однокомнатную квартиру, и там поселились двое сотрудников. И оба — поэты: Алексей Прасолов — из начинающих и Павел Касаткин — из так называемых маститых, кто-то уже предрек ему будущность — поэтическую будущность Кольцова советской эпохи. Будущий Кольцов советской эпохи выпить был не промах, и поговаривали, что это он Прасолова научил... приучил... затынул в зеленый омут. Может быть: жили-то в одной квартире более двух лет. Справедливость заставляет все-таки вспомнить, что еще в педучилище Алексей был не прочь присоединиться к хмельной двоице-троице, а то и организовать оную, и верный Алексеев друг Иван Татаренко строго отпояживал его от погребка на росошанском базаре. Да и сельское учительствование в Шекаловке по вечерам нередко замешивалось на самогоне или «Волжском» — глухоубойном, отвратительном вине с поэтическим названием.

Кораблинов, однажды ранним утром зайдя в редакционный туалет, застанет там Прасолова — спящим. И разбросанно-растрепанным. В душе как что-то оборвалось: у Владимира Александровича было три сына, Алексей был словно четвертый, названный. Что-то с ним будет дальше?

Кораблинов позже, с горечью наблюдая пагубную тягу и внешнюю и внутреннюю неустроенность, душевную безладность Прасолова, назовет его воронежским Франсуа Вийоном. Не подозревая, «как наше слово отзовется». Отозвалось — загуляло по разным пирушкам и страницам. Один литератор, пути которого не раз пересекались с прасоловскими, передаст мне рукописное стихотворение, написанное им после трагического февраля; и там тоже — «Мэтр Франсуа Вийон».

Все-таки все было намного глубже. И по-русски. Поэтические искания, неприятие городских суеты и блесков, детское и недавнее прошлое, неясное будущее смыкались в неразмыкаемый круг, связывались в узел, который и не развязать, и не разрубить.

Что-то Прасолов попытался объяснить в письме Стукалину, через несколько месяцев после отъезда из Воронежа: *«Я собрал кое-что из написанного и просмотрел. Раньше темы у меня были простые, а стихи выходили современные. Но меня тянуло к более глубокому; научиться чему-либо у нынешних поэтов почти невозможно — я обратился к классикам. Тут и заела меня форма — ямбы, ямбы... “высокий штиль” и прочее. Это прескверное состояние — иметь мысль, образ и не выразить тем языком, который у тебя на языке... И, однако, из него, как оказалось, не так уж трудно выйти — стоит бросить классическую форму и взять простую. Итак — больше ни строчки по-старому. Признаюсь, мне порой перед самим собой неловко: ведь я простой сельский учитель, а в стихах ряжусь во фрак XIX века. Это пришло не сейчас, после вашего письма, оно давно как упрек не давало мне покоя. Но во что переодеваться — я не знал. Как буду писать (смогу ли — такого вопроса нет), увидите сами. Странно: прежние (сельские) стихи, которые я перечитал сейчас, пусть они неглубоки, но светлы; а последние — как могильные плиты; под их формой я хоронил в каждом живое, сегодняшнее, поэтому когда я дописывал последнюю строчку и отсылал, мне не хотелось их читать...»*

*И дурак же я был, что прокорпел над могильными ямбами! Но были причины. Город втиснул меня в скорлупу, сковал, оглушил и, наконец, озлобил; я ходил с одним желанием: “бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью”! Хорошо, что я дольше не остался там и не бросил ничего. А рука дрожала. Отсюда все — в ином свете...»*

(Это объяснение требует объяснений. Ямбы останутся и впредь. И Твардовский

знаменитую теперь подборку прасоловских стихотворений в «Новом мире» намеревался так и назвать — «Ямбы»; всего скорей, и назвал бы, не оказавшись в подборке иноразмерный, хорейный стих. «Ямбы» куда лучше, чем констатирующие — «Десять стихотворений». И опять же — «Ямбы» блоковские, высокая традиция! Ходасевич в 1938 году, незадолго до смерти, воздал ямбу торжественную, прямо-таки классическую хвалу: «ему один закон — свобода, в его свободе есть закон».)

А «городской синдром» — все, наверное, так. И сельским — светлым — стихам здесь было не взойти и не выжить. Чувства тревоги, разлома, безладности, непрочности устоявшегося, вынесенные из детства, из обесполовиненной семьи, из войны, в городе усугубятся. Чувство сиротства — особенного, вне рода, вне близких — станет прямо-таки угнетать.

И как неожиданно, вдруг, оставит он университет, так же для внешних глаз неожиданно уйдет из «Молодого коммунара», и так же по-прасоловски резко уедет из Воронежа — к осени 1955 года.

Эти его три зимы и три лета — словно незримый, неудачный поединок с городом? И возвращение на малую росошанскую родину — как отступление? Движение вспять? Или же — вглубь? Как сильная рыба уходит на дно, он должен был уйти от многотупной городской суеты? Деревня, почва, холмистые поля, ничем не застимые, дали ему начальные радости и горести, и оглядеться надо там, где горизонт смыкает землю и небо.

Невольная заноза сомнений все же есть. Он что — новый Шолохов, возвращающийся к сельскому крову со своими «Донскими рассказами», напечатанными и признанными? Вовсе не так. И столицы еще не было, и книги отпечатанной не существует. Для многих губернский, областной город как трамплин на столичные рубежи и этажи (только «трамплин» — это не для Прасолова, он не принимал подобного рода метонимий, для него жизнь — всерьез, а у спорта и игры — свои площадки).

И все-таки — возьми он курс на столицу? Не только же племя лукавых политиков, суетливых стихотворцев-эстрадников, слабоголосых, а то и дурноголосых песенников-авангардистов и всякого цвета художественных оккультистов устремляется туда и там оседает. Булгаков, Платонов тоже Москвы не миновали. Правда, Москва умеет бить с носка, обоих — била. Да и у внешне более благополучного Твардовского разве не вырывались криком горькие слова о родной — чужой Москве?

Что ж, Прасолов намеревался, точнее, надеялся «зарядить пушку в Воронеже, чтоб потом выстрелить в Москве».

Позже столица приоткроет тяжелую дверь, даже на миг — откроет. А покамест и областной Воронеж — позади. Как недописанный стих с неверно взятым начальным звуком.

И все же Воронеж он никогда уже не оставит. Будет в нем, с ним мыслью и сердцем, реальными приездами, стихами. Письмами, в которых опять-таки говорит о «воронежских» стихах; пишет, что начал стихотворение о Петре Первом, посвященное новому памятнику в Петровском сквере.

А то и вовсе часть письма отдает «воронежским» строфам.

И вел нас город, вставший на холмах,  
В торжественной раскованности русской,  
Два времени смешавший в именах  
Мостов, базаров и бетонных спусков.  
И болью песни он во мне звенит,  
Перед оградой с незакрытой дверцей,  
Где давит полированный гранит  
Кольцовское измученное сердце.



## РОССОШЬ. НА КРУГИ СВОЯ?

Не всякое возвращение — поражение. И дважды не только в одни воды не войти и под одни ветры не попасть, дважды по одному кругу — неизменному — не пройдешь. Даже если бы все те же камни, деревья, лица. Но всякий раз — новое.

Возвращаясь из Воронежа в Россошь, в поезде, в стареньком вагоне, Алексей Прасолов познакомился с Ниной Лукьяновой. Двадцатилетняя выпускница Астраханского финансового техникума направлялась к месту первой работы — в недалекую от Россоши Ольховатку.

В педучилище Алексею нравилась сокурсница Ольга Хуторная. В селе Первомайское, раньше Дерезоватое, он встретил молодую учительницу Веру Опенко и к ней испытал, может быть, самое сильное и светлое за всю жизнь поэтическое чувство. В Шекаловке он переболел страстным влечением к Александре Хаустовой, тоже молодой учительнице. Все было недавним и жило в нем успокоенным воспоминанием.

А здесь — словно бы пронзило: его будущая жена, мать его будущего ребенка! Как знать, быть может, и муза его?

В Ольховатке Нина не задержалась: пригласили (перевод с повышением) в Петропавловку — один из самых дальних, южных райцентров области. Алексей часто навещался туда. Просторно-открытое, приветливое степное село, где скоро неожиданно-негаданно накроет его темное крыло беды.

В 1956 году Алексей и Нина стали мужем и женой. Нина переехала в Россошь. Сняли квартиру неподалеку от редакции росошанской газеты, где Прасолов работал сначала корректором, затем литсотрудником. «Любовью движутся светила...»? У молодых поначалу именно любовью все двигалось и обнималось. Родился сын, назвали Сережей: Есенин «подсказал». Прасолов, может, впервые по-настоящему испытал радость семейного, укореняюще-домашнего. И слегка умалились, отступили чувства сиротства, одиночества, необъяснимой тоски, с которыми жила его душа, сколько себя помнил. Матери он даже сказал, что у него будет три сына, вспомнив при этом русскую поговорку, что один сын — не сын, и



Россошанские поэты Михаил Тимошечкин и Алексей Прасолов (справа)

два сына — не сын, и только три сына — сын. Не то что тройная страховка фамилии, а продолжение и расширение родового дерева, и даже — народного.

Постепенно обнаружилось, что того «солнечного удара» — сильного, внезапного чувства, что захватило их в дороге меж Воронежем и Россошью, недостает, чтоб, не запинаясь, идти через время и быт. У музыки — женское имя, но поэтические токи идут не только от женщины, иногда — вовсе не от женщины и вовсе не от жены.

Для него же главное оставалось главным: даже не творческая, а духовно-творческая жизнь. Видимое со стороны — газетная поденщина. Невидимое для глаз посторонних — он шел в глубину явлений, и дневники, письма, стихотворные строки явственно отображают это движение. В конце 1957 года литературный Воронеж проводит семинар-совещание молодых поэтов, руководят которым преподаватель Воронежского университета Анатолий Абрамов и из столицы приглашенные Юлия Друнина, Владимир Солоухин, Николай Старшинов. Знакомясь с рукописями, Абрамов вдруг наталкивается на «очень энергичные и малословные стихи» — прасоловские. Преодолевая возражения местных литературных верхов, он добивается, чтобы поэт из Россоши стал полноправным участником семинара. И все неворонежские руководители семинара выделяют прасоловскую рукопись из числа многих. Воронежский ученый устно и письменно — в «Коммуне» — заявляет о прасоловском стихе как о явлении серьезном и не похожем на похожие.

После отъезда из Воронежа живет он в Россоши, работает в «Ленинской искре», и это — самый продолжительный срок его журналистской службы на одном месте — почти три года, с 1 сентября 1955 по 1 июня 1958. Далее его жизнь превращается в полуцыганское кочевание: он колесит по ближним и дальним районам области, перебирается из редакции в редакцию, нигде надолго не задерживаясь.

## НОВАЯ КАЛИТВА. ДОНСКАЯ ЛУКА

С конца июля 1958 года Алексей Прасолов — сотрудник новокалитвянской районной газеты «Красное знамя», работает там до середины октября того же года. В связи с тогдашними административными то разукрупнениями, то укрупнениями Новой Калитве недолго оставалось иметь статус районного центра, а значит, и собственную газету, но Прасолов калитвянский отрезок своей газетной службы прошел прежде, чем «Красное знамя» свернулось.

Новая Калитва — донская слобода в прибрежной котловине и на меловых когорах при впадении в Дон Черной Калитвы. Большое село в полусотне километров от Россоши — недавнее, чистое воспоминание. К началу пятидесятых, когда Прасолов учительствовал в селе Первомайское (прежде Дерезоватое), нередко бывал он в райцентре. Здесь и встретились ему тогда Алексей Вагринцев и Николай Иващенко, поэтически одаренные, чуть постарше его. Трое подружились. В вечерние прилунные часы до полуночи бродили бедными послевоенными калитвянскими улицами, выходили на просторные луга, прозываемые в здешней округе «луками» — видать, по величавой луке Дона, который у Новой Калитвы выворачивает с южного курса на восточный, юго-восточный.

Трое не могли не говорить о недавней войне: кровью, железом, черным огнем прошлась по их селам, по их душам. Верили, что у народа-страдальца не может не быть достойного, счастливого завтра.

От житейского поднимались к поэтическому. Огромному простору земли и неба читали пушкинского «Пророка» и «Вещего Олега», лермонтовский «Парус» и «Дубовый листок», некрасовскую «Железную дорогу». На стоцветных лугах, близ угрюмой, окопами испоясанной Мироновой горы, строфа за строфой, глава за гла-

вой прочитан был «Василий Теркин» («Книга про бойца»), всеми троими любимый, каждый знал его наизусть.

Очередь доходила и до своих строк. Двадцатидвухлетний Прасолов посвятит Багринцеву самое, может быть, открытое, доверчиво-исповедальное, «сельское» стихотворение — наивное, но искреннее чувство и отображение соборного начала. Страдного, но не стадного!

Да, все мы — дети Родины великой,  
Как будто мать одна нас родила.  
И потому с невольной улыбкой  
Я прохожу по улицам села.  
И потому, вовек не зная скуки,  
В людскую гущу я всегда и мчусь.  
И там, где труд и слышны песен звуки,  
Я нахожу истоки новых чувств.  
И пусть пока незрелы наши строки —  
Душа бы в чувствах зрелой была,  
А время будет, подспеют сроки —  
И мы споем в селе и для села.

«В людскую гущу я всегда и мчусь» — и по звуку, и по стилистике малоблагозвучная, тяжеловатая строка. Но здесь существенное: быть в людском круге, где истоки чувствований. Однако есть, да и пребудет тоска-печаль: не всякий человеческий круг — мирен, соборен, не всякая толпа — свадьба. Подчас и на кругу, среди своих, бываешь чужим, одиноким. И даже вдвоем с кем-то чувствуешь себя подчас еще более одиноким.

Позже в прасоловском поэтическом мире образы — «Человеческий путаный лес», «Человеческая роща», «Лес людской» — явят ощущение неузнанности, сутолоки, разъединенности, невозможности выйти на спасительный путь, увидеть сквозь ветви небесный купол. Как в горелой чащобе: и много стволов, да деревьев нет.

Образ человеческого сообщества как леса таит и свет, и мрак, сквозь кроны можно яснее увидеть звезду, но можно и заблудиться под пологом густых веток, затеряться.

Насколько светлее, спасительнее — «Среди людской горячей нивы / Затерян колосом и я». Здесь даже слово «затерян» не угнетает. Здесь — почти по Твардовскому: «И счастлив тем, что я не чудо / Особой, избранной судьбы».

Новая Калитва, сокровенная улица, дом Веры. Алексей Прасолов встретился с Верой Опенько впервые в Дерезоватом, в Первомайское переименованном, куда она по доброй воле пришла с престижной должности в райкоме комсомола. Оставила райцентр — родную Калитву, чтобы учить детишек добру-разуму в бедной, удаленной от больших дорог школе.

Алексей сразу же проникся глубоким чувством к Вере. Школьные учителя, они часто встречались. И не только в школе. Родилась чуткая душевная близость, не смущаемая и не затемняемая «близостью иной». Он видел в ней музу свою, он надеялся увидеть в ней жену свою. Но — не сложилось, и пути их разошлись. Позже Алексей посвятит памяти Веры самое, может быть, высокое, проникновенное и трагическое стихотворение — «Я не слыхал высокой скорби труб...»

Всякий раз, приезжая в Новую Калитву, Алексей вольно или невольно думал о том, что здесь родилась Вера, хрупкая, строгая, — словно бы она не дочь красного конника-рубача, но посланница прошлого века, дочь дворянской усадьбы, тургеневская, бунинская девушка, жертвенная сестра милосердия.

Новая Калитва всегда оставалась отградна и желанна. И уже работая в Воронеже или поблизости от Воронежа и навещаясь в родные места, бывая у матери,

он при всяком популярном случае приезжал сюда, в Новую Калитву, где хаты, дома были знакомы, а люди гостеприимны.

В одном таком доме мне, восьмикласснику, дождливой осенью 1954 года выпало впервые встретиться с Прасоловым. Дом был для той поры непривычно богат хорошими книгами и патефонными пластинками с записями русской и мировой музыкальной классики, русских и украинских народных песен. Невысокого роста, как подросток, щуплый, внешне малоприметный, Прасолов показался мне старше меня не на десять лет, а на целую вечность. Взгляд его был колюч и лучист одновременно. Колючесть куда подевалась, когда началась музыка. Дважды, трижды ставили на патефонный диск «Бранденбургский концерт», «Соль минор», Первый концерт Чайковского, еще — «Полонез» Огинского, песни — «Стоит гора высокая», «Тонкая рябина», «Есть на Волге утес»... (Юный, достаточно начитанный, я ответил на три-четыре вопроса Прасолова, и, по всему видно, заинтересовал его — или словами своими, или поведением — уважительным к старшим, но не угодливым...)

Новая Калитва 1958 года — продолжение пути? Или кратковременная пристань? В местной редакции Прасолова хорошо знают. При «Красном знамени» собрались небесталанные сотрудники из молодых — недавние мои соклассники, товарищи по школе — Рая Каменева, Наташа Пожарова, Василий Белокрылов. И сотрудники постарше были народ незаурядный. Василий Жилияев, по штатному расписанию — фотокорреспондент, по внутренним началам — художник: хорошо рисовал, пел, сочинял стихи. Временю секретарствовал в редакции Иван Иванович Ткаченко — учитель-энциклопедист, сельский, народный интеллигент, своеобразный летописец родного края. Под его пером и устным словом дышала память. Край обретал память и древнюю — под курганами и донскими водами, и недавнюю, молодую — с окопами, воронками, осколочной ржавью.

Погибшим на придонских, на калитвянских кручах, безымянно похороненным в братских могилах, Ткаченко возвращал имена. Неделями и месяцами он пропадал в архиве Министерства Обороны, переписывался с родными погибших, с военачальниками и солдатами, которые выстояли и наступали отсюда, со знаменитого рубежа: здесь был северный фас Сталинградской битвы. Здесь разворачивались наши наступательные операции «Малый Сатурн» и Острогожско-Россошанская, столь памятно-погибельные для врага, что немцы остаются о тех днях и местах ворохи мемуаров, а итальянцы, четверть века спустя, снова возвращаются сюда, чтобы страшное противостояние повторить, уже художественно, в кино; фильм «Подсолнухи» Эннио де Кончини у нас назовут — «Они шли на восток».

У Прасолова, разумеется, было что вспомнить про фашистское нашествие в беседах с Ткаченко, недавнее пережитое поэт не мог не вспомнить, хотя по-настоящему скажет о нем и в стихах, и в повести значительно позже.

Что же до древности, Ткаченко учил нас, своих питомцев, видеть даль не только пространственную, которая с Мироновой горы открывалась во все концы света, но и даль временную. И в его рассказах от дней Бояновых как бы по волшебству Дон являл свою зримую древность: пыльные и дымные дороги больших племен, переправы войны и мира, гулкие сечи, городища, донские караваны стругов, имена, имена...

Почти ничем это древнее видение не отзовется в прасоловской строке. Волнует куда более близкое. Волнует?

Крестьянское восстание, известное под названием «колесниковщина» по имени его нечаянного предводителя, бывшего красного командира Ивана Колесникова, длилось с октября двадцатого по май двадцать первого года. Почему крестьяне донских Калитв и соседних слобод взяли за оружие? Было с чего... На смелую хватку поработавшим в Старой Калитве и округе продотрядам поспешил оче-

редной — некоего Поппельно — с шестью пушками. И когда конный нарочный прискакал с тревожной вестью, старокалитвянские мужики, женщины с малыми детьми на руках кинулись упрашивать недавнего красного командира оборонить их, а затем призвали его в церковь, и он — при свечах, «под колоколами» — поклялся возглавить отряд отпора.

Из Старой Калитвы восстание разольется по окрестным слободам, языки мятежного пламени охватят Новую Калитву, Криничное, Дерезоватое, Терновку, острые клинья пробьются к Богучару, близ которого уже отпыхало Вешенское восстание, к Новохоперску и даже в Тамбовскую губернию, где в неравной борьбе с превосходящими экспедиционными силами отчаянно дрались крестьянские антоновские отряды.

Колесниковский мятеж был жестоко подавлен.

Молодые о том знали понаслышке, у стариков продолжало болеть. Крестьяне, в свое время пострадавшие и от белых, и от красных, земляки, размежевавшиеся в неладный час войны, продрозверстки, разрухи, поломанные коллективизацией, разъединенные и на общем дворе искусственно съединенные, даже в после-сталинские «разговорчивые» времена без особой охоты вспоминали свое прошлое. Говорили по-разному, не в одну масть, не в один цвет...

Скорбные, обгорелые головешки братоубийственной гражданской войны все еще дымились, заглущая запах гари от последней войны — недавней Отечественной.

В поздний час поэт идет мимо школы, а за стенами — диспут о счастье. Молодым — какого еще счастья, кроме своей молодости? Но диспут — бушует!

...И тени расстрелянных  
Видятся мне,  
Прибитые пулями  
К этой стене...

Здесь нет ни белых, ни красных. Ни своих, ни чужих. Нет той разделенности мира и авторской декларативности, которые демонстрирует тогда же написанный «Комиссар». Здесь — Жертвы. Гражданская война, откуда и как ее ни изображай, всегда — великое народное несчастье, шабаш демонических сил, ненавидящих и белые, и красные знамена, подменяющих дороги к храму дорогами в ад.

Революция — Зло и Добро за одним столом — ощущалась Прасоловым отнюдь не книжно, а как пережитое его народом, его селом, а значит — и им. Он задается вопросом, зачем революция облагораживается в фильмах, вроде «Сотрудник ЧК»? Мenee всего, видимо, помогает истинному осмыслению революции так называемое «ревискусство»; во всяком случае, Прасолов, размышляя о родине и революции, убежден в этом. «Всерьез — это несовместимо».

Впредь у него почти не найти строк о гражданской войне, размышлений о двоякой сущности революции и гражданской войны, о пламенных сагопевцах последних, хватких энтузиастах «ревискусства». Разве что небольшие, но задуматься заставляющие записи в дневнике.

...Январская запись 1968 года — о «колесниковцах» и их сыновьях, после поездки в слободу, откуда началось восстание:

*«Вчера. Клуб в стенах бывшей церкви. Собрание — как вывороченное нутро народной жизни. Эта часть народа — очень колоритна: отцы и деды росли над диковатым разбойным простором степей и Дона, берега которого таят первобытные становища, кости мамонтов и кости всех, кто приходил посягнуть на волю. Предки собравшихся всегда волей-неволей были в русле истории и, наверное, больше чувствовали это инстинктом. Поэтому вольный природный простор, открывающийся с меловых круч, был для них единственным и не*

*«Всегда осознанно мерилмо воли. Вот почему именно здесь поднялось неширокое, но злое и очень опасное для молодой власти восстание — поздний мятеж против той новой силы, которая многим из повстанцев была вначале близкой в чем-то существе, а потом испугала их своей реальностью существования, озлобила жестокой требовательностью нового хозяина...»*

*Потомки этих людей собрались «решать» хозяйственные вопросы. Решали очень мало, больше задавали вопросы начальству.*

*Ночью на обратном пути из Старой Калитвы. Освещенная фарами узкая, стиснутая заносами дорога... Люди не вписались в эту ночь...»*

«Клуб в стенах бывшей церкви» — знакомое: и в прасоловской Морозовке церковная кладка в наилучший час пошла на клубное устройство. Старокалитвянская церковь, надломленная в тридцатом, еще и после войны держалась внешними формами, хотя и обезображенными. В мои школьные годы на пути из Нижнего Карабута в Новую Калитву остов надломленного храма, возвышающийся над Старой Калитвой, был издалека виден. Как обрубленный перст... Позже в старокалитвянском клубе мы, девятиклассники, отдавали субботние вечера отечественным и зарубежным фильмам, в которых женщины являлись не только с непокрытыми головами, чего по древней христианской традиции под церковными сводами не должно быть, но и с непокрытыми лебедиными выями и волнующими персями, старинным слогом изъясняясь. Самое грустное, что под сводами храма-клуба мы узнавали о дальних странах, соборах, именах, но о самой Старокалитвянской Успенской церкви ничего не знали долгое ее подмененной двери. Мало того что здесь крестили, венчали и отпевали многих и не один век. Когда-то в Успенской церкви священнослужительствовал Евгений Снесарев, родственник знаменитого Болховитинова, историка и духовного пастыря. Сын же старокалитвянского священника Андрей Снесарев, в раннем детстве не раз бывавший под сводами церкви, стал выдающимся военным деятелем, ученым-геополитиком, известным и за пределами Отечества...

Люди превратили церковь в клуб. Но не всяк теперь туда спешил. Отрезал себе туда дорогу и дед Андрей Отрешко, могучий и добродушный старик, когда-то бывший не последним в отряде Колесникова. В молодости я был дружен с его племянницей и влюблен в его внучку, с последней мы часто забредали в его курень: он сторожил колхозный сад за околицей Старой Калитвы, у дороги к ее младшей сестре-свободе. Был он радушен, мирен, незлобив и, угощая нас яблоками и посмеиваясь, всерьез говорил, что самый большой грех — разлад. Где бы он ни был — в душе, в семье, в стране. Разлад между двумя влюбленными или между двумя державами. Разлад, идущий от суеты, гордыни, неправды. И злости, злобы, зла. Что он, один из главных бывших повстанцев, вспомнил при этом?

Через десяток лет не стало ни сада, ни церкви. Сад был выкорчеван, остатки храма доломаны. Ушли из жизни последние участники и свидетели «колесниковщины» — крестьянской драмы.

И что же мы, внуки их? Почему не рассказали о драме? Побоялись не найти точного и справедливого памятного слова? Неся в себе и эту боль, ограничились встречами с участниками скорбных событий, замыслами рассказать об этом, долгими раздумьями и короткими строками.

Но вернемся из одной свободы в другую. С придонских бугров две Калитвы, Старая и Новая, глядятся друг на друга как родные сестры, а семиверстные луга-«луки» меж ними словно застольная скатерть — белая в зимы, зеленая в летние дни. Вернемся из года 1968 с его прасоловской записью о повстанцах и потомках повстанцев в год 1958, где Прасолов в редакции «Красного знамени» заканчивает газетный очерк.

Был день, который, казалось бы, вмещал всю жизнь. В тот сентябрьский день Прасолов видел свадьбу и похороны, слышал крик новорожденного; на Белой горе,

где соседями война и мир, где неподалеку от куста шиповника с птичьими гнездами вдруг вымывало ливнями солдатские останки, он подобрал в окопе и сунул зачем-то в карман игольчато-острый осколок, с которого дожди давно уже смыли кровь; в поле и на ферме встретился с людьми, о каждом из которых — хоть повесть пиши.

Возвратясь с Василием Жилиевым в редакцию, он за каких-нибудь три часа написал, конечно, не повесть, но крепкий очерк о прошедшем дне. Он сам порадовался: в очерке — живо! Маленький отрезок времени на малом пространстве. Но в судьбах, в этот день учуянных, время и пространство уходят неохватно далеко.

Загодя взята бутылка перцовки. И когда редакция опустела, они решили пропустить изошедший день со всем его радостным и печальным. В окна светила огромная луна, было хорошо видно, хотя свет лежал квадратами мертвенный, тяжелый и недобрый.

Стали открывать бутылку, она выскользнула из рук и разбилась. Минутное огорчение и у Прасолова, и у Жилиева сменилось оживлением людей, которым без потерь удалось перепрыгнуть овраг. Увидели в этом знак и полушутя условились пореже «перепрыгивать овраги», и да будет их хмель-охота повержена, как уроненная бутылка.

Проговорили до полуночи, и словно третий был с ними — Есенин: возвращались к его судьбе, к его жестокой петле, к пережившей его на тридцать лет матери. Читали, читали есенинские стихи, больше всего — «Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа...» Тяжел, недобр лунный свет, но хороша ночь, роднящая двоих единых годами, единой землей, единой тягой к прекрасному.

На другой день, в вечерний час, по дороге от Дона, мимо огромного деревянного зернохранилища, на стенах которого все еще четко бросалось в глаза деготно-черной краской коряво прописанное: «Смерть немецким оккупантам!», «Мины!», «Мин нет», Жилиев завернул в редакцию. Было темно в окнах, но на дворе лунный свет все освещал — равнодушно, отрешенно-мертвенно. Но и — будто прощально. И напротив от редакции, на рубчатой ограде райисполкома, он увидел словно бы магнитом притянутого к ограде человека с раскинутыми руками.

До конца недели Прасолова на работе не было. Появился в понедельник, измятый, с землисто-серым лицом. И тут Рая Каменева взялась «прорабатывать» его. Нет, не с того, что в редакции была секретарем комсомольской группы. Год назад окончившая школу, искренняя, отзывчивая, порывисто восторженная и свято верящая в справедливость, любящая отечественное поэтическое слово, она чувствовала незаурядность, необычность прасоловского дара, и ей жалко было поэта, его не во благо потраченного времени, попусту измученного сердца. «Проработку» Прасолов выслушал молча, не проронив ни слова. Но во взгляде — резком, недоуменном — вскользь словно бы вопрос: «И ты?» Она почувствовала, что слово ее — не вовремя, не к месту и напрасное.

Так вышло, что Рая Каменева была Алексею Прасолову самым близким человеком в редакции. Душевным товарищем. Однажды, еще месяца за два до главной и бессильной «проработки», она неожиданно увидела поэта в вечернем парке, у танцплощадки. Едва ли кто из танцующих знал, на каких руинах устроена ограда их вечерней радости. Еще в тридцатом здесь непорученно вздымался Троицкий храм. И душу, и средства, и строительные способности вложил в него местный священник. Внук того священника — человек в духовном мире известный: уроженец Новой Калитвы — Леонтий (Лебединский), митрополит Варшавский, позже митрополит Московский.

Прасолов остро чувствовал неестественное, выморочное состояние жалкого уголка, где угнездилось гульбище. Тогда еще не было ни пестрящих цветомузы-

кой дискотек, ни оглушающих и уныло похожих друг на друга рок-групп, ни «тяжелого металла», но нехитрый рисунок развлечений в кружении тел и тогда был тот же, что теперь. И Прасолов сказал Каменевоу, что его удивляет и огорчает убогость и однообразие такого рода развлечений. Тем не менее, они часто встречались именно в этом парке. Все ее подружки танцевали, а она и поэт на близкой от танцплощадки скамейке, под чахлыми кленами и акациями, под слабосильными фонарями, под куполом звездного неба говорили о поэзии, читали друг другу любимые строки — пушкинские, блоковские, есенинские. Иногда Алексей читал и свои стихи, еще не напечатанные. Так — весь август.

А началась осень — зачастили дожди, слякоть расплзлась по слободе и, казалось, заползала в души. Откуда было недавней десятикласснице знать, что в осеннюю слякоть у поэта особенно обострялись чувства тоски, одиночества, горькой памяти? А водка была — как влага забвения.

На другой день после того, как Прасолов уехал, Каменевоу передали два листа низкосортной желтой бумаги, размашисто исписанных прасоловской рукой. Посвящение ей. Ответ ушедшего.

И пробил час...  
В последний раз  
Волна донская  
Всплеснется вмиг  
У ног моих,  
Песок лаская.  
О древний Дон!  
Твоих седин  
Не опорочу,  
Тебя я песнею будил  
Нетрезвой ночью.  
Легла знобющей синевоу  
На воду осень.  
Я никогда б,  
Товарищ мой,  
Тебя не бросил.  
Но есть еще одна река —  
Она сильнее.  
Ей имя — Жизнь,  
Во все века  
Я дружен с нею...

На семидесятилетие Прасолова моя бывшая соклассница в Новой Калитве передала мне в подарок эти два совсем изжелтевших листа с прасоловским посвящением.

Десятки и десятки подобных листов, посланных поэтом из тюрем и случайных мест в журнальные и газетные редакции, там и затерялись. Письма, адресованные знакомым, все ли сохранились они? А сколько, и часто стихотворных, посвящений, подписей на сборниках или где-то хранятся да неизвестны широкому читателю, или вовсе утрачены вместе со сборниками — утрачены при разных обстоятельствах.

## ПЕТРОПАВЛОВКА ВОРОНЕЖСКАЯ

Но как разворачивалась, куда уносила она, эта река-жизнь, с которой молодой поэт, как мнилось ему, во все века был дружен? Не отодвинуть колесо обыденщины. Прасолову, разумеется, чужды были затворнические, непроницаемые стены «чистого искусства», он не пожелал бы за ними скрыться, даже если бы и мог, но



и заедать свой век газетной поденщиной он не хотел и время от времени пытался разорвать этот круг. Поденщина была сильнее, цепь не разрывалась.

Прасолов возвращается в Россошь, за прежний редакционный стол, но через полгода вынужден оставить редакцию. Единственный раз в жизни он попытает себя за пределами области, устроясь на журналистский прокорм в редакции районной газеты в Ровеньках Белгородской области, к слову сказать, прежде — Воронежской губернии. Продержался он здесь до конца года — без дня два месяца. «Охота к перемене мест» становилась явно вынужденной.

Петропавловка — район далекий и от Воронежа, и от Россоши. Глубинка из глубинок — задонская песчаная земля, южный, приграничный с Ростовской областью район. Но выбирать не приходилось. К тому же сюда, когда здесь работала жена, Прасолов не раз приезжал, так что — хоть и дальний угол, но вроде бы и не чужой.

До конца шестидесятого года он — заведующий отделом сельского хозяйства петропавловской районной газеты «Под знаменем Ленина».

В тот год в райцентре состоялось событие: был открыт памятник командиру «Молодой гвардии» Ивану Туркеничу — уроженцу недалекого от Петропавловки села Новый Лиман. О «Молодой гвардии» Прасолов, разумеется, знал и по фадеевскому роману, и по герасимовскому фильму; волнующий юными судьбами, сброшенными в могильную шахтную пропасть, в педучилище даже стихи о молодогвардейцах писал. Но теперь для него дело молодогвардейцев не то что утратило обаяние патриотического порыва, молодой дерзости и жертвенности, но душа уже вобрала в себя почти неисчислимы иные имена, эпохи, пространства. В ней уже не было того тихого, мирного, сопереживательного лада, каким она держалась и возвышалась, пусть и не часто, в деревне, в педучилище. «Душа — в огне», что за огонь ее сжигает?

Стихов, написанных в тот год, что пальцев на одной руке. Стихи резки, тревожны, неуютно в них. Вечная драма мира — отец и сын — и в «Голосе весны», и в неоконченной поэме «Комиссар», казалось бы, просветляется надеждой, но в строфах — навеянное, и надежда не убеждает.

Домоустройство, чувствуется, не ладится. Ни в душе. Ни в семье. Да, может быть, и в стране, еще не совсем отошедшей от войны и уже нашедшей массу новых тревог, неурядиц, бед — хрущевская перекройка границ внутри Союза, очередная дурь-атака на церковь, налетно-неистовые бури обещающая потревоженная целина, скоробудущий расстрелянный Новочеркасск... Зреют, зреют новые разломы в душе и в мире. А тут бы — из старых выбраться.

Память — испытание, она не для сытно-благополучных.

Черной вьюгой по пепелищам  
Мчались годы всемирной беды,  
Слышишь, ветер и шарит, и ищет  
На земле всех погибших следы.

Но и живущих ветер не золотыми снами овеивает, а насквозь пронизывает, словно требовательно спрашивает за пагубные страсти.

Ветер непогод властно пронесится по прасоловским страницам — от поэтической строки до письма и дневниковой записи. От начала до конца. «У обрыва бьетса ветер», 1949; «Сад багряный ветрами продут», 1952; «Только ветер бьетса в окно», 1955; «Ветер выел следы твои на обожженном песке», 1959; «Но слышишь — ветер времени тревогою звенит», 1962; «Тебя кружил беспутный ветер», 1963; «Как душит ветер в темноте!», 1964; «Ветер двигал красный...», 1965; «Опять гудящий ветер...», 1966; «Но ветер над тобой трагедией повеял», 1967; «Ветер — предвесенний темный порыв», 1968; «Ночью — ветер...», 1969.

«Слушаю ветер» — это из осеннего, позднесеннего письма 1970 года — словно бы трагически усеченное блоковское: «И песни петь. И слушать в мире ветер!»

Ветер — конь, не знающий узды. Он на подворье не живет, крова своего не ведает. «Мой спутник — ветер, злой и резкий», — вскользь, но будто чеканные шипы роняет поэт в стихотворении, написанном в 1960 году в Петропавловке — тихом райцентре; в том же стихе предпринимается нечто вроде атаки на дом, на семейный очаг, а дом — наиболее сокровенный образ русской словесности!

Обжитый мир четырехстенный  
Сдавил по-волчьи — не вздохнуть,  
Там есть любовь.  
Но нет стремлений,  
Там, как несчастье, слово — путь!

От добра добра не ищут, и, если есть любовь, каких еще надобно исканий, в какой устремляться путь? Дорога из Россоси в Петропавловку — это не Путь, это обычная дорога, то ровная, то извилистая, со своими подъемами и спусками, не хуже, не лучше других сообщительных дорог. А Путь — он может быть дан и не выходящему из дома.

Дважды письменно обращался я в районные редакции, в которых — где больше, где меньше — работал Алексей Прасолов, в газетных очерках, статьях, зарисовках столь же неповторимый, как и в письмах, и даже — стихах. Просил откликнуться: «Наверное, еще живы газетчики, которые вместе с ним работали за редакционными тесными столами, живы деревенские люди, в памяти которых он сохранился — пусть малым эпизодом, несколькими штрихами, мыслью, оценкой тогдашней жизни; живы районные жители, те, что знали его, встречаясь в нечиновных редакционных комнатах и на улицах бывших и теперешних райцентров. Знали, конечно, разного — будничного и праздничного, озабоченно-спешащего и готового к неспешному собеседованию, угрюмого и открытого улыбке, трезвого и нетрезвого. И речь не о том, чтобы, вспоминая, о чем-то недоговорить, о чем-то умолчать, в ином приглушить краски, в другом прорисовать да поярче. Такт, нравственное чутье и пишущих, и читающих всегда являют возможность отделить зерна от плевел, случайное, незначительное, стороннее — от значительного.

Давайте же воедино соберем прасоловское, напечатанное когда-то в местных изданиях, соберем воспоминания еще живущих, не дадим листикам памяти разлететься на суетных переменчивых ветрах!»

Первое обращение — словно затерялось на первой же почтовой версте: ни строки ответной. Второе — через десять лет, двухтысячного года — вызвало отклики. Наиболее пространное воспоминание — из Петропавловки.

Бывший ответственный секретарь районной газеты во всю ширину литературной страницы вспоминает, каким образом появился, чем запечатлел себя и как вынужден был расставаться с райцентром на берегу Толучеевки провинившийся журналист и поэт. Под заголовком «Стихи его читать приятно» (невольная ассоциация со словами одной из сатирических героинь Маяковского) рисуется образ не во всех отношениях приятный. Сотрудник от неумеренно выпитого яблочного вина вдруг засыпал за редакционным столом. Бывало, в крепком запынении он взбирался на стол и читал свои стихи — самому себе, ибо, чувствовалось, ему никакого дела не было до тех, кто слушал и не слушал его, зашедши в кабинет. А дальше в Петропавловке непонятно как стали пропадать вещи. Мелочь. Но однажды в редакции исчезло демисезонное пальто редактора. Виновника вычислили. Уже на другой день милиционеры тихо, что называется под руки, повели по-

эта из редакции в милицию, что поглядывала на редакцию с противоположной стороны улицы.

Мне пришлось обратиться к бывшему редактору петропавловской районной газеты Ивану Добринскому. Существенное в его письменном рассказе — прасоловское рассуждение о Боге, прежде неизвестное: «Все, что связано с верой в Бога, мыслится мне как сумма неоспоримых истин, не требующих доказательств».

И о Прасолове-журналисте бывший редактор районки помнит решительно хорошее: профессиональней, строже, интересней стали полосы, особенно подготовленные отделом, которым заведовал Прасолов; из малограмотного письма он делал душевную зарисовку, из привычной жалобы — проблемно-постановочную статью.

Что же до загадочных пропаж... Человек брал, а взятое где-нибудь оставлял, куда-нибудь засовывал, чтобы тут же о нем забыть. Зачем ему было прихватывать женскую сумочку, в которой ровно ничего не было, кроме партбилета, который тогда был все? Или старое, из лозы плетенное лукошко с десятком старых яиц? Наконец, это злосчастное пальто, ошибочно накинутое после редакционной пирушки и оставленное в кустах терновника.

Как все переплеталось, свивалось в один узел — трезвость редкого по проницательности ума и та хмельная чаша, которая погубила многих.

Каждому — свое. Все люди глядят на солнце, да разное видят. Прасолову словно бы от рождения дано было видеть человека, мир, вселенную в двуединстве света и тьмы. «Мне уж если луч, так оттененный тьмой, если улыбка, так после какой-то суровой борьбы, после боли», — строка из письма. Но и многие стихи — об этом. Прасолов ранимо чувствовал непогоды души, бури человеческого сердца. Но также — и бури небесных сфер. Протуберанцы на солнце, взрывы далеких звезд он чувствовал, как если бы разглядывал небеса в некий незримый телескоп. Временами, быть может, надвигалось резко: солнце погаснет не через миллионы лет, как предсказывает наука, но скоро... Завтра! Сейчас!

Прасоловское, скоро столь очевидное чувство космизма — особого рода, в чем-то совсем одинокое. В отечественном философском и поэтическом сознании, скажем, и у любимого Прасоловым Есенина космос часто тепл, человечен, близок к земле. Ибо он находится под сенью Божественной Воли и Любви, он согрет явленностью Сына Божьего и Человеческого, который — и на небе, и на земле. Как у Тютчева, есенинский Христос идет по бедной долготерпеливой русской земле, всю ее благословляя. У Есенина — бесконечный Бог, всеблагий, человека не покидающий. У Прасолова космос — лишь бесконечный космос, равнодушный или даже враждебно холодный, но и могущий дать прозренья.

Остается предположить, не более того, что все могло обернуться иначе, без суда, будь лад и мир в душе и сердце поэта, по-иному сложись в семье, в стране, в мире, наконец. Но сложилось так, как сложилось. Суд не заставил себя ждать. Наверное, он бы не был наотмашь бьющим, не стань тогдашний судья на сугубо формальную, буквенную сторону закона, по-человечески вникни он в обстоятельства, где проступок провоцируется неким болезненным вожатым.

По случаю дела местный судебный архив ничего не сохранил. Весною двухтысячного года судья Петропавловского районного суда Александр Нестругин (редкое сочетание: юрист и поэт) на мой запрос ответил: «По поводу Прасолова ничего не осталось, вот только статистическая карточка...»

И что же в статистической карточке? «Дело на завсельхозотделом редакции петропавловской газеты «Под знаменем Ленина» Прасолова А.Т. поступило из прокуратуры 2 января 1961, рассмотрено 17 января 1961. Сущность приговора — три года лишения свободы».

Приговор как «перевернутая явь». По-степному открытая, свободная Петро-

павловка обернулась «Петропавловкой» — тюремной, зарешеченной, разве что не на Неве, а на Дону.

Поэт отбывает наказание близ Воронежа, в живописнейшем Березовском районе, скоро вошедшем в Рамонский. Красивейший уголок древнейшей реки, пыльца доисторической тайги, простор, дивная лука Дона. Но адрес жесток: «ящик»! Сначала «ящик» на донском берегу: Воронежская область, Березовский район, Кривоборье, п/я ОЖ 118/2, затем «ящик» — в заповедном лесу: Воронежская область, Березовский район, п. Бор, п/я 118/4 «Б».

По-крестьянски работающий и скромный, вне выпивок отзывчивый и не заносчивый, Прасолов располагает к себе одновременно и начальство, и, что важнее, невольных знакомцев, сотоварищей, заключенных.

Тюрьма — не санаторий. Но возможность читать не обрезалась. Нечаянно была прочитана и статья Инны Ростовцевой «Поэзия соловьиного края». Прасолов вел мысленные напряженные диалоги с классиками, постоянно учась у них. Но здесь — о живущих: молодая выпускница Воронежского университета размышляла о сильном и слабом в стихах местного поэтического сообщества. Статья стала негаданно счастливым приглашением к серьезной переписке.

В марте 1962 года Прасолов пишет первое письмо Ростовцевой (всего их будет около двухсот) и первыми же строками дает понять, что он не на дежурном отклике и говорить намерен всерьез. «...Суть в таланте, а не в обязательном запахе пыли, чабреца и прочего чертополоха, коими богаты наши веси повсеместно»; далее в письме — свои стихи (особенность и почти постоянное слагаемое прасоловского эпистолярного пласта) в конце письма — словно бы невольно вырвавшийся вздох: «Эх, скорее бы в жизнь! В мае должен выйти».

К письмам Прасолова надо возвращаться и возвращаться. В них глубокие размышления о жизни и литературе, о классиках и современниках, о подлинном и мнимом, о любви, болезни, смерти, о текущем и вечном.

Письма двоих — прожитые в плотном времени и пространстве сроки и строки их; сораздумье, сочувствование, некий эпистолярный и жизнеиспытанный роман, словно бы завещающий роман как жанр, исповедально-философский, с комментарием, который будет или не будет создан — решить соучастнице большой переписки.

В данном же, первом письме к Ростовцевой биографически существенно упоминание про скорое освобождение и возвращение в жизнь.

24 мая 1962 года тюремные ворота перед ним действительно открываются, он выходит в свободный и никогда и нигде не свободный мир. Он не со вчера понимает, что без «нравственной узды» личности и общества («широк человек, сузить бы...» — Достоевский) свобода — лишь химера, лишь искусственными огнями освещенная ночь вседозволенности. Без «этического контроля», как настаивают отечественные, прежде всего, религиозные мыслители, не может быть истинной, высокой свободы. И какое преодоление себя, какое самосовершенствование и личности, и общества требуется! Иначе — не свобода, а ее троюродная тень, лукавый миф, подмена свободы полусвободой, своеволием ума и уничтожением, попранием совести как пережитка. И единственная свобода — сменить цепи: одни сбросить, чтоб заменить другими.

По выходе из тюрьмы Прасолов обращается к Стукалину и Пескову с просьбой помочь деньгами, и оба, и не раз, помогают ему суммами достаточными, чтоб житейски стать на ноги.

Обком, непосредственно газетный сектор, направляет его в редакцию Аннинской межрайонной газеты «Ленинец». Не худшая по составу журналистов редакция, а место — так и вовсе приманчивое: старинное село на чистой реке Битюг, старинный природный парк Ростопчиных, белый непорученный храм.

Некогда благословенный и вдохновенный угодок поэтессы Евдокии Ростопчиной, строки которой, здесь навеянные, словно бы окликали. «И есть родство, родство святое меж всем тоскующим и мной...» И далее — «Не бури шум, но ветер полночный — вот, вот поэзия моя!» Ветер полночный, ветер тревог — это и его, Прасолова, спутник, поэтический дух, удел или, у былых столетий заимствуя слово, жребий.

А строки — «И вьюги русские завоют над нами песнью гробовой!» — ритмически, чем-то неуловимым навевают прасоловское: «Здесь в русском дождике осеннем»...

Тут, однако, и его собственному слову не дано было расцвести: в Аннинской межрайонной газете Прасолов не успел проработать и месяца, как его снова утянула «наклонность», дававшая о себе знать после наспех собранных застолий, после встреч с «горькой».

В конце весны освобожденному досрочно, ему неотбытые полтора года остались как условные. И главное было в эти полтора года — не споткнуться. Но счет уже шел не на годы. Летом — новый суд, 7 августа 1962 года — новый приговор: три года, да еще неотбытый в первый раз срок, в условный переведенный, — тоже присовокуплен.

Что за темная, жестокая сила заявила о себе в тот год в судьбе поэта, почему его снова одолела прежняя пагуба? Короткою оказалась передышка меж заgrадами из колючей проволоки, тюремные стены, едва разойдясь, тут же сомкнулись, заглотив его вновь!

«...Все, что произошло со мной, — писал он Ростовцевой в декабре 1962 года из тюрьмы (Семилуки, п/я ОЖ 118/1 «В»), — не закономерность. Это скорее похоже на дорожную катастрофу, которая происходит неожиданно и многое обрывает на ходу...»

Через пять дней — общего свойства объяснение: «Я далек от оправданий и скидок в свой адрес. И знаю, что беда пришла из одиночества и той невеселой беспечности к своей судьбе. Мне страшно, как в морозную воду, было окунаться в прежнее — район, газетная опустошающая суета и пр...»

В письме, вдогонку предыдущим, декабрьским, — описание и объяснение происшедшего: «Мое преступление в общих чертах: хозяину, во двор которого я попал по нелепой случайности, я выдал плечом глазок в окне веранды — это единственный ущерб, нанесенный ему. И, если бы у них кто-то был в то время, дело могло бы обойтись иначе: а вышло так, что соседи, услышав звон стекла, приняли меня за черт знает кого. Я пошел за ними в отделение в надежде, что там разберутся. Обследовали место происшествия, учли мою первую судимость, хвост и стали квалифицировать мое преступление как попытку проникнуть в дом(!)...»

Аннинский районный суд, помимо статистической карты, выслал также и резолютивную часть «прасоловского дела», сущность которого, как и в первый раз, — кража. Разумеется, «кража» слишком приговорное слово для оценки случившегося. Резолютивная часть бесстрастно констатирует — при личном обыске обнаружены платежное страховое извещение на имя Веретина и детская губная гармошка.

Страховое извещение на имя Веретина в кармане Прасолова — нелепица, абсурдный штрих, а вот губная гармошка...

Губная гармошка — это из военного детства, и настанет час, когда в «Жестких глаголах» он воздаст ей — исторгательнице нехитрых звуков в равнодушно-холодных губах оккупанта. Впрочем, гармошка уже прошла в его строке, его товарищи по перу любили цитировать: «Гармоники пиликали, Европа браво то пала. Глаза России никелем до слез слепили «Опели». Но он же не пришелец из оккупационного сорок второго? Да и губная гармошка не скрипка, на которой он

в юности умел играть, не флейта, каким можно было бы увлечь зрячих или слепых, хоть людей, хоть зверей, подобно флейтисту из средневековой притчи-сказки! Да и разве хотел он этого? Может, надо ему было спуститься к берегу реки и через немудреные звуки вспомнить детство? Да, видимо, позабыл, что священное право частной собственности при любых режимах блюдетя смертными, во все свои века пытающимися даже у Бога отнять землю и небо и определить в свою, частную собственность.

Проступок ничтожен, а страдание, стыд, боль, раскаяние обширны и глубоки. Для советливого Прасолова случившееся с ним действительно что дорожная катастрофа.

Прежде, в первую судимость, он писал одному хорошему знакомому: «Я уехал из Россосии... Мне нужно было горькое, но необходимое лекарство — изоляция на год, на два, чтобы окончательно очиститься от заразы, которая меня все больше захватывала.

И вот я девять месяцев работаю зав. клубом. Никогда за последние годы не чувствовал себя так облегченно и спокойно. И, знаешь, у меня сейчас такое отвращение к прежней полутрезвой жизни, что не верю порой: неужели это со мной было?.. Сейчас много читаю и думаю. Я готовлюсь к новой жизни — и с трезвой головой...»

Чуть позже Ростовцевой писал: «...Не думал о такой беде, никак до сих пор не укладывается в голове. Выйду отсюда и скажу искреннее спасибо тем, кто помог мне сбросить налетную житейскую дрянь, приведшую меня в суровое чистилище».

И вот — снова чистилище? Или — катастрофа? Наказание было столь несоизмеримым проступку, а сами случайность и абсурдность его были столь очевидны и невероятны, что для Прасолова это было как потрясение, как черный сполх судьбы.

В глубине души предельно страдая, Прасолов случившееся с ним оценивает и — сам судя. «Заносит руку чей-то суд, когда же — грянет — Твой?»

«До чего ж иных пугает слово з/к. Я и здесь во многом свободнее, чем они там!»

Или — «Мне-то и срок судья завысил, что я кое-что высказал на суде в лоб: «Сколько раз вы ни кинете меня в неволю, я буду свободнее вас».

Чувство уязвленного одинокого? По-мальчишески звучащая бравада?

В письме другу, писателю, земляку Василию Белокрылову много спустя он цитирует стихи, записанные в райцентре Анна у реки Битюг, на стене камеры.

Захлопни, соглядатай, дверь!  
Пускай в дверях стеклянный глаз.  
Какое счастье! Я теперь  
Наедине с собой хоть раз.  
Когда пробьет мой вольный час,  
Здесь духом тленья в свете дня  
Пахнет — от прежнего меня,  
А может, от всегдашних — вас.

## НА ГРАНИ ЗРЕЛЫХ ЛЕТ

Предыдущие два года заняты были, видимо, осмыслением случившегося, осмыслением себя в мире, и страны, и мира, как таковых, взыскующих новых надежд, побед и потерь. Недавний Карибский кризис дохнул всепланетной катастрофой, мир колебался у края бездны, словно средневековый корабль в Карибском треугольнике.

В эти два года стихов у Прасолова немного. В шестьдесят первом их вовсе нет. В следующем есть сильные: «Рубиновый перстень», «Царевна», «Развесистыми струями фонтана...» Но есть и слабые, неудачные.

Но вот — шестьдесят третий год. Поэт — в возрасте Иисуса Христа. Весь год — в тюрьме. Внешне он и библиотекарь, и заведующий клубом, и разнорабочий. Тюремная роба и прогулки в замкнутом, прицельно контролируемом пространстве делают его похожим на других, которых здесь сотни. Но он — один. В нем восходит истинный поэт. И никогда уже, разве что в больницах, он не напишет в один год столько стихов. Пятьдесят, даже больше. Пятьдесят зрелых стихов!

В этих стихах он заявит главные, испытательные ценности трагически расколотого, двуединого мира — любовь, ее свет и мрак, ее целомудрие и темное, плотское дно, ее высокие вершины и провальные стремнины, ее идеалы, маски, подолия; единство боли и радости; война и память о войне; сыновье чувство к матери; высота и святость человеческого труда, единство и драматическое противоборство человека и природы, сопутствующего прогрессу; свобода подлинная и мнимая; музыка и гармония мира; память времен и племен; Бог и люди.

Стихи он шлет на волю — в районные редакции. Но прежде всего — в Воронеж. На квартире ученого, уже сказавшего о Прасолове свое слово веры в литературной среде и печати, Абрамов и Ростовцева прасоловские стихи отбирают для «Нового мира». Ростовцева передает их Твардовскому.

Александр Трифонович Твардовский знакомится со стихами. И — случай небывалый для журнала — в августовском номере за 1964 год публикует десять стихотворений неизвестного России провинциального поэта: по месту проживания даже не областного, а районного.

Подборка существенно разнилась с тою, какую предлагал или желал бы видеть автор: в журнале появились лишь три стиха из первоначально намеченных им — «Весна от колеи шершавой...», «Среди цементной пыли душной...», «Тревожит вновь на перепутье...» Правда, и Прасолов, надеясь стихами «дать основное направление — Время, Бытие, Человек, День, Ночь», не включил в первоначальный список даже такие свои шедевры, как «Пролог», «Когда созреет срок беды всесветной...», «Тревога военного лета...», «Коснись ладонью грани горной...», «Ты в поисках особенных мгновений...»

В «Новом мире» стихотворения пошли в последовательности, какую определил им главный редактор: «Весна от колеи шершавой...», «Привычно клал он заводскую...», «Черней и ниже пояс ночи...», «Среди цементной пыли душной...», «Платье — струями косыми...», «Взметнули трубы медные...», «Сюда не сходит ветер горный...», «Далекий день. Нам по шестнадцать лет...», «Зима крепит свою державу...», «Тревожит вновь на перепутье...»

Новомировская подборка принесла провинциальному поэту всероссийскую известность.

Август же стал для Прасолова дважды счастливым месяцем. Познакомься со стихами, за автора их стал хлопотать Твардовский, депутат, что называется, со стажем, и в августе Прасолов был освобожден досрочно.

А 3 сентября 1964 года в Москве, в Малом Путинковском переулке, в редакции «Нового мира», Прасолов встретится с Твардовским. В редакторском кабинете, где прежде в немалом числе обретались знаменитости, где в ту пору не раз бывал Солженицын (уместно сказать, что прасоловское отношение к тогдашнему «Новому миру» сродни солженицынскому; иное дело непосредственная оценка солженицынского «Одного дня Ивана Денисовича»; в одном из писем Прасолов отметил, что ему «не понравилось, что автор — человек интеллектуального склада — спрятался за Ивана Денисовича». Замечание беглое, едва ли точное. Как раз то «интеллектуалы», «интеллигенты» и пеняли Солженицыну, дескать, почему главный образ его лагерной повести — простой человек из народа, а не интеллигент, об этом Солженицын вспоминает и устно, и письменно).

Прасолов рассказал о встрече в «Строгой мере» — лаконичных воспоминани-

ях, положенных на лист 26 января 1972 года, за неделю до ухода из жизни. Эти воспоминания — как прощание. Как благодарное слово судьбе, жизни, русской классике. Пушкин, Бунин, Твардовский названы как пароль в будущее.

«Судьба дала мне встречу с одним лишь поэтом. Но им был Твардовский», — так заканчиваются воспоминания, и имя автора «Василия Теркина», быть может, последнее большое имя, написанное прасоловской рукой. Как из классиков Пушкин, так из современников Твардовский, — оба осознаются Прасоловым не только высшими носителями поэтического, но и даже большего, нежели поэтическое слово, и что есть сама высота и глубина жизни.

Короткая телеграмма от Твардовского — срочно слать стихи в октябрьский номер 1967 года, или короткое письмо от 16 января 1970 года, по части публикации прасоловских стихотворений — отказное и мягко зовущее уйти от «лирической академичности», — все это для Прасолова всерьез, отзывается в нем, фиксируется в его дневниках и письмах.

Однако и на любимого поэта он, по собственному признанию, не глядел суверенно. И тем более на возглавляемый им журнал, который не был сугубо детищем Твардовского и на который воздействовали самые разнородные силы. Вульгарно-социологические страницы в журнальном разделе критики, готовой всех злых напустить против почвенничества, народных, православных, национальных начал, Прасолову естественно были чужды. В разговоре об этих началах статья-критика молодогвардейского для него сердечней и глубже, чем — критика новомировского.

Взгляд на Россию с тысячелетней историей для Прасолова дороже, нежели узкий, прицельный взгляд на Россию, словно бы только с революционного семнадцатого и начинающую свой путь; на страну, в двадцатом столетии отданную коммунизму, ищущую себя в нем, принимающую и преодолевающую...

Прасолов, многим обязанный «Новому миру», считает возможным или необходимым сказать: «Переоценивать «Новый мир» не будем, — даже в том лучшем, чем я ему обязан! Да не покажется это неблагодарностью. На доброе я памятлив».

## ПИСАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ

Свободный внутри (свободный — с неизменяемым чувством ответственности), он теперь — и на внешней свободе. Но как распорядиться обустройством внешней жизни, как войти в быт, хотя бы в мало-мальское благополучное существование? Прасолов никогда этого не умел. Да и не хотел. Не раз об этом и говорил.

*«Восторженность жизни и золотая ее полнота — это никогда не приходило ко мне ни в жизни, ни в стихах. И вряд ли придет. Когда я чувствую это, благополучие становится тягостней несчастья, и я в нем не живу, а тащусь до минуты взрыва... Я всю жизнь в черном теле, и часто такое клубится в душе, что стискиваешь зубы. Неужели все так благополучно?»* (из письма, ноябрь, 1962).

*«...Сколько еще носить мне в мире бесприютное сердце, сколько смотреть в глаза, в души, касаясь их, понимая и прощаясь с ними?»* (из дневника, запись декабрьская, 1965).

*«В голове — одно ясное сознание неблагополучия жизни. Я принимаю каждый день как возмездие за покинутое мной»* (из дневника, запись сентябрьская, 1967).

*«Мучаюсь, когда несчастлив, мучаюсь, когда счастлив...»* (из дневника, запись июньская, 1970).

И все в том же роде, и все в том же духе...



Семья есть, но давно она и он — на разных берегах. Работа? Одна — вдохновляет, другая — изнуляет, третья... Не работать же ему всю жизнь бутафором Воронежского музыкального театра? Туда его устроили по выходе из тюрьмы; нет ничего несуразней, несовместней этой связки: Прасолов и — какая бы то ни было бутафорическая сфера! (Вспомнить, еще один настоящий и рано, в двадцать семь лет, ушедший из жизни поэт — Константин Козлов одно время — в год рождения Прасолова — работал в том же Воронежском, только драматическом театре, и даже не осветителем-бутафором, а ночным сторожем.)

Он перебирается в родную Россось, определяется в Дом культуры, завхозом. Человек, равнодушный ко всякому хозяйству, личному и иному, долго ли пробудет в хозяйственной должности? Бутафором, рабочим сцены он продержался чуть дольше месяца, завхозом — меньше полугода.

Из Россоси уезжает в Репьевку. Внешний шаг и путь души — движение часто разное: как на земной дороге и как в небесной выси. Душа живет днем, душа живет и мучается ночью. Самовыражается в поэтической строке. Ежегодно поэт публикует два-три десятка стихотворений. Едва не каждое третье — антологическое, рожденное для долгой жизни.

«Новый мир» открыл дорогу к широкому российскому знакомству со стихами Прасолова. Поэта печатают не только воронежские областные и районные газеты, не только «Подъём», но и «Сибирские огни», «Дон», столичные «Юность», «Наш современник», «Литературная газета».

Помогают друзья и литераторы, видящие, как особняком, в стороне от тогдашних главных дорог, но о главном сурово заявляет прасоловское слово. Друг юности Алексей Багринцев, будучи редактором Петропавловской районной газеты, печатал стихи Прасолова, даже когда тот отбывал срок внутри тюремного круга. Опубликоваться в «Литературной газете» помог Анатолий Жигулин, в «Нашем современнике» — Михаил Шевченко. Первый сборник «День и ночь» готовят к изданию Владимир Гусев и Людмила Бахарева, решительно ускоряет его выход Александра Жигульская. Молодогвардейский сборник «Лирика» помогают издать Александр Твардовский и Борис Стукалин. Оба сборника — воронежский и московский — выходят в 1966 году.

В 1966 году Прасолова принимают в Союз писателей СССР. Рекомендации — Владимира Кораблинова, Владимира Гордейчева, Федора Волохова — лаконичны, всем понятно, какого масштаба «соискатель» перед ними. Кораблинов, давно зная Прасолова, еще в его начальных поэтических шагах, пишет: «Он, кажется, ни разу в жизни не задался целью удивить читателя». Замечание существенное. Литераторы разных направлений состязались в умении удивить, и удивляли — внешним: то претенциозным желанием выпить солнце, то внесердечным конструированием треугольных груш, то бестактными пошло-позирующими образчиками вроде: «Я распят, как Христос, на крыльях самолетов, летящих в эту ночь бомбить детей Христа».

Отношение к новому своему статусу профессионального писателя — противоречивое.

В письме к Василию Белокрылову от 21 ноября 1970 года — уже как бы отстраненно: «Вспомнил свое состояние после приема. Я почувствовал себя (при всем сознании того, что сбылось в жизни) каким-то прирученным, приговоренным к писанию, сосчитанным и взятым на учет («листок учета кадров»!) Какая-то хорошая несущая душу стихия, брат, словно умерла во мне...»

Но, разумеется, и рад был и пусть не считал дни, но ждал, когда же вручат писательский билет. Жалуется в письме Михаилу Шевченко, от 3 марта 1967 года: «Воронежское отделение — это какая-то глухота и немота... До сих пор даже билет не вручили, хотя все давно оформлено».

А в Россошь, в двухэтажный из сырца-кирпича, недалеко от станции дом, на квартиру Лилии Глазко (улица Свердлова, 11/9) прямо-таки примчался, чтобы дружественную семью известить: «У меня радость!» — и на стол для смотрин положить писательский билет.

Собственно, что он значил, этот красный билет, применительно к Прасолову — антиподу трудно создаваемого уклада, налаженного быта, благополучной жизни?

Появилась возможность льготных путевок, поездов в приморские и пристольичные писательские дома отдыха? С этим не сложилось: поэт вообще не умел отдыхать в чинном, курортном смысле слова «отдыхать». За рубеж ему и престижный билет — не пропуск. Издаваться? Но и без писательского статуса его печатали, а после новомировского цикла стихи и вовсе в столе не залеживались. Разве что вдвое выше прежнего (не восемь, а шестнадцать рублей) стали оплачивать Прасолову, теперь уже как «узаконенному» члену писательского цеха, каждое выступление перед сельскими и городскими читателями, слушателями. Так он никогда не был ревностным охотником до такого рода выступлений в литераторских «агитбригадах».

Правда, писательский билет открывал путь на Высшие литературные курсы. И друзья советовали их пройти, и сам поэт не считал их за лишние — там знания, встречи, имена.

Еще до приема в Союз, в письме Владимиру Гусеву от 13 ноября 1965 года Прасолов говорит об этом: «Членство дает право попасть на литер. курсы. А мне так надо учиться — и вот столько преград на пути к учебе, к своему прямому делу. Ведь в Воронеже я тоже чужак в кругу расчисленных светил».

Поступив на Высшие литературные курсы — некую завершающую академию писательского учительства, Прасолов по-настоящему мог бы открыть для себя Москву и себя — в Москве.

## МОСКВА БЬЁТ С НОСКА

Это был его второй приезд в Москву. Первый — встреча с Твардовским 3 сентября 1964 года, и чтоб она осталась незамутненной, не отодвинутой иными столичными впечатлениями, — только она; второй — в последующую осень.

Дневниковая запись — 20 октября 65-го: «Третьего вечером — в Москву. Мать должна купить билет. Я звонил ей дважды. Договорились...»

(Грустно читать такого рода дневниковые записи-признания: то у матери приходится просить деньги на билет — а иначе бы и не поехал?; то учится печатать на машинке в тридцать шесть лет, — это когда его похватистые столичные сверстники, молодцы литературные, скоро и на компьютерах забарабанят, да что ж, не его этот деловитый, деляческий темп; или же в сорок лет засобирается наконец попасть в Святогорье, в Михайловское, да опять же — безденежье.)

Дневниковая запись — 11 ноября 65-го: «За плечами — Москва. Москва — перед глазами.

*Впервые — Кремль. Архангельский собор. Могила Дмитрия Донского и еще 55-ти князей и царей. Роспись, икона Рублева.*

*Ваганьково кладбище. Могила С. Есенина, могила матери его...*

*МХАТ. “Зима тревоги нашей...”»*

Владимиру Гусеву пишет сразу же после приезда. Письмо от 13 ноября 1965 года: «Чем была Москва? Два часа — Кремль. В Архангельском соборе отблеск Рублева, могила Дмитрия Донского, Грозного... Вопрос гиду, почему рядом с Кремлем и мавзолеем буйный торг: ГУМ и прочее. Не понравилось...

*Был в “Молодой гвардии”... Народ, чувствую, недобрый. Очень вежливый...»*

Вопросы на Красной площади Прасолов, разумеется, мог бы задавать и дальше. Не о мавзолее — тут он был в общепринятой схеме, не о Горках Ленинских — культовые уголки он посетил и даже написал о них — «И вот настал он, час мой вещей...», «Войди — и сразу на пороге...», «Таит телефон Ильичевы слова...»; в ряду столицей навеянных стихотворений они, кроме, может быть, первого, не самые лучшие: по-прасоловски добротные, но не по-прасоловски описательные. Разумеется, искренние.

Что же до недоброй столичной публики, так Прасолов здесь не первый, не последний, кому, верно, вспоминались старинные про нее поговорки: Москва бьет о мыска; Москва слезам не верит; кому Москва, а кому мачеха; тяжела рука московская; им Москва, а нам тоска...

Но теперь, по приезде на Высшие литературные курсы, Прасолов питает надежду пожить в Москве, может быть, даже благосклонной, счастливающей. Это был его третий приезд в столицу. Третий раз во всякой русской сказке — счастливый...

Более чем краткому пребыванию поэта на Высших литературных курсах 1967 года предшествовал эпизод — как тропинка, вдруг ныряющая в темный овраг.

Приехав в Москву, Прасолов тем же днем зашел в правление Союза писателей России, где литконсультантом работал тогда давний друг по Россоси. В книге рассказов о писателях «Дань уважения» Михаила Шевченко, изданной в Воронеже в 1989 году, есть страница и об этой встрече, радостно начавшейся, да злосчастно закончившейся. Дома у друга, в ожидании семейного ужина, Алексей успел ополовинить взятую по дороге бутылку горькой и стал отчужденно жесток.

Тяжко пьющий человек, хмельной, никогда не согласится, что он тяжело пьющий человек, и любое замечание или уговаривание оставить стакан недопитым воспринимает как оскорбительное, как покушение на свою личную жизнь, ее права и свободы.

Но права и свободы непьющих? Писатель Кораблинов, в конце шестидесятых долго и покорно терпевший неожиданные как снег на голову приходы на дом весьма хмельного Прасолова, вынужден был однажды тихим своим голосом сказать: «Таким, Алеша, сюда больше не приходи!», — делая твердое ударение на слове «таким».

Люди, ранимо воспринимающие в жизни социальные и иные язвы, не понимают алкогольных влечений ни в себе, ни в других. Им пьющего Прасолова трудно, горько принять. Горько и порицать. Горько видеть. Куда девались тогда его незамутненный, чистый взгляд, спокойная сила и открытость? А вы возлюбите его у мусорного оврага, а не у праздничного стяга?! Бельенкого-то всяк полюбит. Поговорка поговоркой, но получается замкнутый круг. Пьет Прасолов, пьет самородок-современник, пьют талантливые люди и тем теряют себя и ощущают нечаянную трудноискупимую вину перед своим талантом, перед семьей-народом, перед землей родины. «Непротрезвленная беседа» — из прасоловской строфы. И из жизни. Сколько времени у человека и народа отнимают подобные беседы, какие умственные, сердечные энергии, душевные силы уходят в тупик. В пустоту! Сколько самой сущности человека отнимает у человека зеленый змей, серая мышь, черный человек!

Зачисленный на Высшие литературные курсы и на первой же неделе попавший в компанию себе подобных не дарованиями, но пагубными утягами, Прасолов скоро был отчислен: очередной противоалкогольный указ исполнялся не то что неукоснительно, но поэту столичное литературное учение обрезал.

«Отлучение» от Высших литературных курсов — как изгнание из Москвы. Больше он уже туда никогда не поедет. А в Воронеже на литературные заработки трудно было прожить. Помыкавшись, Прасолов возвращается в Росошь: может, уже и постылая, но все-таки родина. Как говаривал древнегреческий мудрец, живущие состоят из... дома и пчелы. Пчела возвращается в улей. В данном случае — покинуть Росошь и вернуться в Росошь? Не возвращаться же в Петропавловку или Анну? Райцентры с милыми названиями, женски звучащими, райцентры, где на него обвалилась беда, были не забыты им, но изжиты: от них веяло ему в спину холодом, непониманием, равнодушием.

Правда, после нескольких лет работы «на рудниках и стройках», как иносказательно, в оглядке на цензуру, называли тюремное заключение писавшие о поэте, Прасолов, возвратясь в Росошь, на следующий год сменил Росошь на Репьевку. Там, в райцентре на берегу реки Потудань, в редакции газеты «Ленинское слово» (везло ему на редакции с названиями, в которых, как флаг, развевался эпитет — «ленинский»!), он продержался с июня 1965 по март 1966.

Не худшие для него месяцы. Он много писал, много печатался.

Репьевка — репейная сторонка, с семнадцатого века заселенная казаками слобода, первоначальное название которой: Потудань. Река Потудань — неширокий створ зеленых берегов, тихий ход воды, исторический загадочный источник, побудивший поэта сделать в дневнике запись: «Где-то здесь шла грань (река По-ту-дань).

Вообще, исторические события оставили здесь заметный след на земле, на людях, войны — на их судьбах (Потудань — Потудон — Дон). Интересно. Где правда?»

Разрывая название реки на смысловые слоги, Прасолов, скорее всего, допускал старинное предание о том, что река во времена монголо-татарского захвата и позже была естественной пограничной, разделительной чертой, и по ту — степную — сторону здешний населенец платил дань. Допускал, но — «где правда?»

Здесь нельзя было не вспомнить и о том, что название реки перетекло в название прекрасного платоновского рассказа, а позже — и целой книги: «Река Потудань» (Москва, «Советский писатель», 1937).

Покончив с редакционными делами, Прасолов вечерами выходил к воде. Стоял, смотрел и думал. Через Потудань строили деревянный, сосновый мост. Строили основательно, и работа подвигалась медленно. Все же настал час, когда поэт по дощатому настилу перешел на другой берег.

Этот мост дал жизнь одноименному стихотворению. Его опубликовал Твардовский. Одно-единственное стихотворение после знаменитой десятичной подборки. Больше в «Новом мире» при своей жизни поэт не увидит ни строки своей. Хотя Твардовский даже телеграфировал, чтобы Прасолов срочно слал стихи в октябрьский номер 1967 года. Поэт высылал. Но что-то не сложилось. И позже, в январском письме 1970 года, редактор «Нового мира» извещал поэта, что отобрал стихи — «Как ветки листьями облепит...», «И все как будто конечно — прощай...» Но к тому времени редакторский стол Твардовского зашатался, словно в ненастье висячий мостик над пропастью...

Владимир Гусев приезжал к Алексею Прасолову на Потудань, два дня провели в Репьевке и Истобном, днем им даже выпало тушить пожар: загорелась изба в Истобном, а две ночи почти напролет бродили ночными улицами. Долго стояли у братской могилы. Было задушевнейшее настроение, говорили о Лермонтове и снова о Лермонтове. О высоком, сильном и добром говорили, и было чувство будуще-

го, и эта ночь, быть может, в чем-то напоминала южную ялтинскую ночь встречи Бунина и Рахманинова; хотя, разумеется, полевая даль не заменяла моря, как и море не могло заменить полевой дали; да и судьбы тех и других слишком разошлись и как судьбы, и во времени и пространстве...

Лето шестьдесят шестого для Прасолова — воронежское. С конца мая и по начало сентября он прописан и живет в частном домике на исходе улицы Плехановской, ныне Московского проспекта, на выезде из Воронежа, где городская улица плавно сменялась загородным Задонским шоссе. Кров ему предоставил Виктор Шуваев, «физик и лирик», инженер с чутьем к поэтическому слову.

В уличном отростке-тушичке, в небольшом домике, в маленькой комнатке все лето прожил поэт. При взгляде в окно два огромных пирамидальных тополя невольно напоминали о тополиной Россоши. Близко от домика — аэропорт, еще ближе — кладбище: в его чугунную ограду упирался усадебный дворик. Старинные внутригородские божьи нивы Воронеж потерял: пустил под парки и застройки, и это кладбище с несуразным и невольно многозначительным названием «Коминтерновское» вышло в главные и обихоженные. Но и здесь были могилы, преданные забвению, вне родственного пригляда. Ни живого цветка, ни ритуального крепая... Лишь «у забытых могил пробивалась трава» — Прасолов нередко вспоминал вслух эти блоковские слова, когда, срезая угол к аэропорту, продирался через кладбище, мимо притененных густокронным пологом огражденных могил.

Аэропорт и кладбище — как две пространственно-временные сущности бытия. Движение и покой. Не духовное, пусть технократическое устремление, но все же — ввысь, к небу. И вечная неподвижность брэнного праха — ушедшего человечества, приговоренно уложенного в темь земли.

Стоял близ летного поля и — когда недолго, а когда и подолгу — глядел на взлетающие самолеты. Не поднебесные реактивные лайнеры, но обычные одномоторники на недалние рейсы. Или каждый из них — тот же «парус одинокий в тумане моря голубом»? А душе сверхскоростные небесные корабли — к чему они? В любую даль и в любую высь восходит она. Как и дочь ее — муза.

Резко разворачивался, резко уходил.

Иногда с товарищем, гостеприимным хозяином дома, у которого при его инженерной должности водились деньги, забредали они в аэропортовский ресторан. Обедали, выпивали две-три рюмки. Иногда читали что-нибудь из классики.

Случалось, уходили за памятник Славы на Задонском шоссе, в поле, к истоку густо заросшего терном оврага. Там поэт раздевался, как на пляже, и долго сидел или полулежал так, словно надеялся вобрать в себя тепло солнца, вобрать землю и небо. Все смыкалось, как в его стихе, — и «июля солнечная власть», и из предпрошедших времен тяга «к земле по-древнему припасть».

Многие видели в нем нескладное и внеукладное. Да еще небольшой рост. Будто Пушкин, Лермонтов или воспетый ими Наполеон — с версту коломенскую. И лишь немногие видели прасоловскую совестливость и детскость, улыбку утреннего отрока.

Три месяца воронежского лета отдал Прасолов газете «На городских магистралях» — многотиражке трамвайно-троллейбусного управления. Многотиражка — это даже не районная газета...

Он мысленно проехал по тем былым маршрутам, трамвайные звонки с которых доносились в раскрытые окна «Молодого коммунара», когда он там работал, и резко-разливчато оглашали главную городскую улицу и спуск к Чернавскому мосту.

Далее в неделю исколесил весь город, все больше трамваем. Получился некий трезубец, черенок которого — привокзалье, а рельсовые зубцы — маршруты на левый берег, по улице Плехановской и в сельскохозяйственный институт. И по-

добие гнutoго круга тоже получилось: от вокзала — через Клиническую и Плехановскую — до вокзала.

Привычное для городского жителя — рельсы по улице, рельсы через площадь. Но — пространство, из которого нет выхода? Иzo дня в день едва не весь город передвигается под электрическим током. Вперед — назад. Туда — обратно. Но нет трамвая, который вынес бы не в бесконечность, а хотя бы в задонскую полевую даль. «Вот — голубой трамвай прозвякал...» Но далеко он не уедет, он — пленник на колесах, пленник рельсов, пленник города. Ему, как оставленному в детстве мальчику, из круга не выйти, не убежать.

Три месяца показались тремя годами.

Еще короче — два месяца в начале шестьдесят седьмого — его газетная поденщина в Кантемировке, в редакции местной районки.

После осени с ее непролазью-распутицей на земле и низким серым небом, стылым, равнодушным, словно бы потерявшим солнце, заметенная белыми снегами Кантемировка предстала Прасолову как санная дорога в детство. В детские дни ему выпадало бывать в слободе — райцентре, которому тогда административно подчинялась его Ивановка.

Уже по весне того же года Прасолов приезжает в Воронеж. Готовит сборник стихотворений «Предвестье», вышедший через год под названием «Земля и зенит». Живет он у литератора Владимира Саблина, который из абхазского далека переехал в Воронеж и сам мытарствовал по квартирам, но, познакомься с Прасоловым, всегда с радостью представлял поэту стол и диван. Квартиры ему попадались на улицах с названиями литературными — Никитинская, Белинского, Плехановская. На этот раз — Белинского. В старинной части города, на приречном бугре, где когда-то была построена крепость, позже поднял свои главы и кресты Митрофановский монастырь, а после войны вырос главный университетский корпус. Дом по улице Белинского — не столь долгий, но гостеприимный очаг и ночлег поэту — тоже был старинный, может, еще времени Петровского, корабельного. Новое время не пощадило старины: в конце века и тысячелетия дом был сломан и на его месте прытко вымахнул особняк одного из так называемых новорусских. В воспоминаниях Саблина, сильных искренностью и точностью («Комната под сводами» / «Подъём», 1990, № 1), рассказывается и о тех апрельских днях, когда Прасолов жил в доме на улице Белинского, готовил будущую поэтическую книгу.

Сборник выйдет весьма скромным внешне, по обложке. Но под обложкой — полсотни с небольшим стихотворений, и есть такие, что достойны быть в русской поэтической хрестоматии двадцатого века. Это — «Неразгаданная глубь», «Еще метет во мне метель...», «Лес расступится и дрогнет...», «Одним окном светился мир ночной...»; да еще добавленные из ранее вышедшей московской, молодогвардейской «Лирики» — «Вознесенье железного духа...», «И что-то задумали почки...», «Я услышал: корявое дерево пело...»

Прасолов возвращается в Россошь. Последняя затяжная попытка не то что обустроить, но мало-мальски наладить свою жизнь на малой родине. С июня 1967 по июнь 1968 он снова в Россошанской районной газете, теперь она называется «За изобилие». Изобилие чего? Для кого? О всякого рода внедуховном преизбытке, — и это в стране вечного недостатка, правда тоже внедуховного, — он позже напишет точно, резко:

Так дай нам Бог не увидеть земли,  
Где изобилье, ставши безобразьем,  
Уже томит создателей своих,  
И властно подчиняет чувства их,  
И соблазняет прихотями разум.

В редакции он как всегда, когда не навеселе, — добросовестен, пунктуально-исполнителен, сдержанно-строг к себе и другим. Спусти рукава строки в полосу не даст. Казалось бы, что за служба — мотайся по ближним и дальним углам района да в каждый номер дай двести, триста или сколько там их потребуется строк? Поденщина из поденщин? Но полнота прожитого дня есть и здесь, есть и радость, и горечь — от увиденного, от встречи, от поля...

На перекладных, на машинах и мотоциклах, а то и пешком добирался он в самые отдаленно-глухие уголки района, спешил побеседовать с агрономами и трактористами, доярками и свекловичницами, стариками-ветеранами всех войн двадцатого века, и никто не был для него заурядно-неинтересен.

Взлетно-запредельный в стихе, поэт и газетчик никогда не чурался родной земли, не отрывался от нее и не был никем и ничем отрываем, никогда не считал, что поездки в дальние деревни, встречи с людьми крестьянской страды — вынужденная проза, раз и навсегда пройденное в детстве и молодости и потому ненужное. Нет, то была его жизнь.

Здесь ветер, долгий, жаркий, полевой,  
Идет спокойно ширью всей равнины...  
Здесь жизни ход — нагруженный, иной  
(И, может статься, чересчур земной),  
Чем там, где люди сеют в мире слово...

Посевы зерна — хлеба насущного и посевы слова — хлеба духовного, действительно, сравнивать не ново. Главное — сеять настоящее и по-настоящему. Да, он сеял рожь, хорошо знал сеющих рожь, и на этом еще всходила его строка. Жатва объединяет зерно и слово.

Дома все неостановимо идет к семейному концу. Он еще прежде, когда в первый раз очутился в стенах неволи, писал в Россось своему даже не самому близкому другу: «Пусть она не надеется...»; и даже — жестоко: «Жаль Сережу... Не от той я родил его, от какой надо».

Его жена, спутница его жизни, — это в Россоси все видят и знают — женщина достойная и... страдающая. Она могла бы простить его столь долгое отсутствие, но вереница всякий раз неожиданных бутылок, выпивок, застолий... Нина ранилась о них, она чувствовала, что они делают Алексея чужим ей и ему самому, она понимала, что сил для такой совместной жизни надолго не хватит.

И поэт кружило на всех правдах и неправдах.

Но незадолго до бесповоротного отъезда жены в Астрахань, на волжское низовье, он пишет, словно исповедуясь, поразительное стихотворение — «Одним окном светился мир ночной...» Трагическое, но и светлое посвящение жене и сыну, мужественное с ними прощание; там каждое слово — точное, там в каждой мысли — шаги семейной судьбы в «пустоту дотла сгоревших лет». Печально и спокойно жена глядит на мужа и мимо мужа, «не тревожа, не храня той памяти, в которой счастья нет». Глаза женщины (язык не поворачивается сказать — «героини») уходят вдаль. Но, самое удивительное, и «герой» заявляет: «Ухожу я вдаль».

А чувство долга? А сын? Семья — твоя ответственность?  
«Ухожу я вдаль...» Где конец этой прасоловской дали?

Вдаль и ввысь он мог уйти только в движении духовном. Даль — в стихе «Равенна» того времени. В стихотворении — солнечная, античнодревняя земля, знавшая и римско-имперское величие, и трагическое запустение, и ныне вопрошающая иную даль.

А в иной дали, на его родине, в его жизни — континентальные ветры, газетная поденщина, великие и малые стройки, уходящие в небытие деревни, дорожная

русская надежда, подбитая тоской. Да еще больница, и снова — больница, и снова — она же.

В дневнике за шестьдесят седьмой год поэт ясно, не жалуясь, фиксирует свое неблагополучие: в марте — «Дышать все трудней — в прямом и переносном смысле»; в октябре — «Яма моя глубока, края обваливаются...»

В ноябре 1968 года он пишет Михаилу Шевченко с больничной койки — из Россошанского тубдиспансера: *«Я после месячного лежания был в Воронеже. Диагноз тот же: очаги на верхушках обеих легких... Положили снова в стационар... Болезнь, видимо, следствие гриппа, которым я переболел, простудившись в газетной командировке в марте... Я хотел уехать из Россоши, но пришлось месяц пролежать в оббольнице...»*

*В последнее время я не работал в местной газете, надумав уехать ближе к Воронежу. В обкоме пообещали дать место в Рамони или в Семилуках. Но обещание не вышло, а тут обнаружилась эта болезнь... И странно, когда представишь написанное, то видишь: большинство стихов написаны в больницах, в условиях, далеких от литературы, но близких к жизни и смерти...»*

Литературный текст на грани жизни и смерти — здесь Бунин. Но, скорее всего, ибо и глубже всего — Достоевский. Запись в прасоловском дневнике — того же, что и больничное письмо, года, более ранняя: «Достоевский. Вхожу исподволь».

Художнический мир Достоевского — исполинский поединок добра и зла в небе и на земле, в душе человеческой, мир, в котором — подполье и горняя высь: город и лесной скит; тюрьма, больница, монастырь.

Улица Достоевского в Воронеже — именно «по Достоевскому»: вниз к реке — мрачноватый лог, почти овраг. По его боковинам — две низки частных домишек. С одной стороны — старинный монастырь, с другой — больничный «причал»: роддом, кожно-венерический диспансер, раковый корпус.

Поблизости от улицы Достоевского располагалось тогда издательство. Централно-Черноземное книжное издательство, где Прасолов бывал часто, особенно когда готовились к печати его поэтические сборники. Выходя из мрачноватого красно-кирпичного издательского дома, поэт нередко сворачивал к улице Достоевского. Идти приходилось мимо роддома, где разногласо и требовательно заявляла о себе только что народившаяся жизнь, мимо диспансера, куда вспугнутый порок устремлялся излечиться от порочно схваченного недуга, мимо ракового корпуса, где жизни приговор выносила смерть. А дальше — укромный и трудный спуск-сход на улицу Достоевского, такую негородскую и такую недеревенскую; и не было там, верно, ни одной души, в какой не жила бы ненаписанная большая повесть; если не повесть радости, то повесть беды...

Рядышком в задичалых зарослях прятался еще один спуск — прямо к реке. Кому — незряче — к реке, кому — чуткому сердцу — каждая ступенька, как шаг в бездну: лестница из могильных плит, утянутых с разрушенных кладбищ. Каждая ступенька — могильная плита. Полустертые надписи на могильных плитах было уже не прочесть. Да, именно так — «одно время сменено и поругано другим!»

В декабре 1968 года поэт отсылает свое первое письмо писателю Виктору Астафьеву, с которым познакомился в столице, на Высших литературных курсах, и в письме — все тот же больничный мотив: *«Сейчас я весьма скован, ибо третий месяц лежу в т/диспансере, в Россоши. Год сложился очень плохо во всех отношениях. И самое противное то, что я снова в больнице...»*

*Россошь — не лучшее место для пишущего (обыкновенный тупик, где ты один и сидишь, как в яме), но выхода пока не вижу никакого».*

Совсем не выход — смененное в скором времени в какой раз место газетной службы.



(При моей встрече с Астафьевым на съезде писателей России в 1990 году он назвал свое знакомство с Прасоловым эпизодическим. Вместе с тем писатель дважды цитирует прасоловские строки на своих страницах, творчество нашего земляка было для него серьезным явлением.)

А поэта тяготило подолгу непреходящее состояние тоски, одиночества, душевного разлада и скитальчества; может, оттого и люди, и малая родина — Росошь — представлялись ему нередко в мрачном свете; чтоб не сказать — глазами некоего «черного человека». Но он же, как редкий кто, чувствовал и понимал, что такое «черный человек»! Он уже написал предупредительно, особенно для молодых, о темной, черномагической роли «черного человека», который в Есенине подменял, отравлял, исподволь убивал Есенина. А в нем? Ненавистный ему «мрак-человек» жил и в нем, недобрыми часами имел над ним свою цепкую власть.

Росошь — тупик? Росошь — яма? Но люди же, люди? И незаурядные, и отзывчивые на благодарность. Многие в городке и округе знают Прасолова, ценят его поэтический дар: Михаил Ульяничев, садовод, выведший добротный сорт росошанских полосатых яблок; Михаил Тимошечкин, поэт-фронтовик, чуткий к народному, корневому; учитель-историк Иван Ткаченко, сельский просветитель Раиса Каменева, писатель Василий Белокрылов, молодые литераторы Виктор Беликов, Петр Чалый, позже написавшие воспоминания о нем, журналисты Иван Девятко, Александр Демченко, Иван Ефименко, Алим Морозов, Иван Моргунов, Григорий Тарасенко. Да только ли они? Еще или прежде всех — Лилия Глазко, урожденная Мордовцева, из уважаемой, известной династии железнодорожников.

В квартире Лилии Глазко (в доме по улице и поныне имени Свердлова, одного из «кристалльных и пламенных», никаким боком не приложимого к Росоши, разве что карательной директивой о расказачивании: Росошь — бывшие казачьи земли) и теперь, многие годы спустя, все тот же, Прасоловым увиденный и благодарно воспринятый мир душевной отзывчивости, интереса к отечественной литературе, мировому искусству...

В этом благословенном уголке, просветительском и по-человечески заботливом, не раз было дано успокоиться и согреться озябшему, бездомному, внеукладному сердцу.

Уже и окончательно оставив Росошь, Прасолов писал о Глазко как о понимающей, родной душе. Женской душе, в приязни которой он находил то, чего ему недоставало «в дружбе искренней мужской». Однажды поэт поцеловал в плечо милую хозяйку дома, и та попросила ничего подобного впредь не делать. Чтобы остаться душевными друзьями.

Сохранилась подаренная им фотография. Надпись на ней: «Для Лилии Ивановны. / Такое бы случилось! / — Переписал бы заново / Стихи свои и жизнь!»

Серьезная надпись, притворяющаяся шутливой.

Росошь — тупик? Не оседлая пядь родных поколений, а станция, откуда поскорее надо сесть на поезд? Родина его первого сына, малая родина — тупик? Что тут? Состояние мига? Оценка похода? Прасоловская реакция на житейский несклад? Сказать и так: человеку взыскующего духа и мощного ума бывает, как в тюрьме, тесно и на необозримом просторе, под широким небом; вспомним платоновское, ранее: «Стучится Вселенная в каземат, который есть она же сама». Человеку одиночества одиноко и в массе. Бездомному сердцу нет дома и в доме.

Нашлись, нашлись в Росоши люди, пусть и не отмеченные большими энциклопедиями, — учителя, библиотекари, местные журналисты, строители, крестьяне, — простые и сложные люди, без которых поэту было бы куда бездомней и тягостней. Черней!

Последний его «россошанский» год был плодоносен и творчески: едва не полсотни стихов! Больше он написал только однажды — в шестьдесят третьем. Тог-

да, в шестьдесят третьем, была тюрьма. Теперь, в шестьдесят восьмом, выпала больница.

Затворная, режимная обстановка, а стихи не ведают стен. Рожденные на больничной кровати, стихи овеваны светом, но и сумраком, в них надежда, но и тревога, солнечный день, но и ночная прорубь; и, право, прекрасны они — ясны и загадочны — «Белый храм двенадцати апостолов...», «Подводный день лишен огня...», «Давай погасим свет...», «Нет, лучше б ни теперь, ни впредь...»

А эти стихи о матери в сенокосный день — какая живая, зримая, движущаяся картина, какая эпическая просторность и неизъяснимо прекрасная лирическая простота!

Сенокосный долгий день,  
Травяное бездорожье.  
Здесь копен живая тень  
Припадает  
К их подножью.  
Все в движенье —  
Все быстрее  
Ходят косы полукругом.  
Голос матери моей  
Мне послышался над лугом...

«Ходят косы полукругом» — словно бунинские косцы из одноименного рассказа идут-поют на придонских лугах, в кольцовских степях!

В тот год Прасолов прочитал недавно вышедшее собрание бунинских сочинений со вступительной статьей Твардовского. «Косцы», «Деревня», «Суходол», «Жизнь Арсеньева» — из самых задушевных, радостных, но и горьких его последних прочтений.

К Бунину, как и прежде и всегда к Пушкину и Твардовскому, поэт возвращался снова и снова, все более убеждаясь, что тот со своей неповторимой художественной убедительностью изобразил духовную и бытовую жизнь русской души, глубинные черты русского человека, где не только доброотзывчивость, смирение, милосердие, стремление к ладу, домостроительству, но и своеволие, смута «беловодьевских» упований, тоска по скитальчеству; и самое, быть может, разрушительное, жесткое — «русская страсть ко всяческому самоистреблению», «восстание на самих себя...» — эти слова из «Жизни Арсеньева» — вершинной бунинской книги — лебединой песни про державную, монархическую, православную Россию последних александровских времен поэт как бы прикладывал на разные эпохи. И — прикладывалось.

В посланном из Росоши письме к другу Василию Белокрылову, и по житейским корням, и по мыслям, настроениям близкому более других, писателю из донской Дерезовки, хлеб зарабатывавшему так же, как и Алексей Прасолов, районной газетной поденщиной, поэт, спрашивая, любит ли тот Бунина, настоятельно советует прочитать в последнем томе «Освобождение Толстого», биографические заметки: «да и вообще он страшно нужен нам весь — русский. Сейчас в стране нашей больше русских и нерусских эмигрантов, каким никогда не был Бунин и за рубежом».

Какое точное и пророческое наблюдение — еще из 1968 года — не бытовое, но социально-политическое; в сущности — трагическое! При названном раскладе сил и умов возможность устройства в стране новой «химеры» — не за горами: как ее ни назови, — рыночно-демократической, грабительски-накопительской, либерально-федеральной, американо-президентской, финансово-олигархической. Не за горами — новый мировой диктат? Мировой порядок, подменяющий или вовсе поглощающий страны со своими самобытными культурами, мировой порядок — тотальная финансовая паутина, масс-культура, антидуховность?

По выходе из россосанского тубдиспансера Прасолов, даже если бы и желал, все-таки не смог бы заглянуть на былую свою квартиру: не хотел чувствовать равнодушие стен и окон к недавно еще протекавшей здесь жизни — его, жены, сына.

В Морозовку он решился идти пешком, как часто бывало в юности. Но он и в юности не был здоровяк, а теперь... Скоро схваченный знобкой ледяной дрожью, он вдвое медленней, вдвое дольше прежнего добирался до слободы. Холод был в природе, холод был в нем. Холод, стужа, метель, пурга, мороз — сколько их в его стихах, сколько их в его жизни! Да и сама слобода-то — Мороз-ов-ка: если отбросить суффиксы — чистый мороз!

С косогора, от железнодорожного переезда, открылась она. Большая. Холодная. Очужденная. Несколькo сот хат, в каждой свой мир, и где счастье, где горе — не знаешь. Крестьяне, учителя, которым поэт многим обязан. Рассказать бы о них, как того заслуживают. Неизвестных сделать известными — в этом ли смысл, правда, добро? А иначе как? Стареют, как вещи, и уходят люди, и слобода теряет свою память. Вот и некогда известный Иван Домнич... Какой морозовский школьник знает о нем? А уроженец Морозовки даже в «Тихом Доне» упоминается как командир красных конников. И это его конники, еще прежде схваток с казаками-повстанцами, у станции Пасеково, недалеко от Морозовки, остановили продвижение оккупационных кайзеровских отрядов на восток. Или Захар Закупнев — из соседней слободы Терновка? По сути, был до войны командующим Северной флотилией. Да кому теперь нужда в той флотилии вкупе с ее командующим? По Черной Калитве ей не плавать. И нет даже улиц, названных их именами. Даже мемориальных досок нет на непомянутой родине. Зато соседней целой деревне приклеили имя Наума Анцеловича — комиссара над учреждениями интендантства, зам. начальника политотдела РВС Южного фронта. Поди, и сном-духом здесь не бывал. Зато — «кристальный и пламенный», пусть и третьестепенный...

И как глядел Прасолов с косогора, Морозовка, может, впервые после детских лет обрела черты истинной малой родины, зябкой, скромной, охватываемой взором и в то же время уходящей вдаль, к границам большой России. Сколько таких Морозовок на русской земле и в русской литературе!

Скоро в повести «Жестокие глаголы» поэт посвятит строгое слово своей малой родине военного времени.

Пришел он к вечеру. Мать и отчим были дома. Проговорили допоздна.

А ночь выдалась бессонной. В этой маленькой бедной хатке — как в неразмыкаемом круге. Все — как в давние молодые дни. Бедным приходит человек в этот мир, бедным и уходит. Но не владеть внешним и не иметь зримого богатства — еще не бедность. Вспомнилось давно читанное, из Нагорной проповеди: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе...» А он — словно где-то меж землей и небом. Он долго не мог уснуть и чувствовал, что мать чувствует, что он не спит. Давно уже покорилась она своей судьбе, готовая нести, как крест, странную сыновью жизнь. Но как-то со вздохом призналась, что доживала б свой век куда спокойнее, будь ее старший сын — сельский учитель, семейственный и непьющий.

В бессонной, сердце разрывающей муке старший сын сызнова переживал свою и ее жизнь — самое памятное. Да, теплота материнских рук и бел-хрустальные блики криницы, и ясный день в ячменном поле, на косовице. Но тут же чистое, солнечное затмевает черный дым от земли до неба... И перед глазами — оккупация. И никогда не дающее свободно вздохнуть далекое, но как вчерашнее, ненавистное нашествие, жестоко ранящее душу его родины, его Морозовки, его матери. И бессильная, словно в бездну падающая детская душа...

Но медленно проступил белый день, а день человеческий — век человеческий. Утром старший сын через огород вышел к берегу Черной Калитвы. В детстве речка

была ему и кормилицей, и купелью отдыха, и наперсницей сердца. Здесь он отдыхал и рыбачил, мечтал и надеялся. И приобщался земли и неба, глуби и выси: речка отражала в себе и кусты, росшие из черноземной земли, и облака высокого неба.

Позже, куда бы он ни попадал, местная река обращалась в его слушательницу, собеседницу, вдохновительницу, и было их много: Сухая Россошь, Воронеж, Айдар, Толучеевка, Криуша, Девица, Битюг, Потудань, Богучарка, Савала, — похоже, как сестры, непохожие, как их имена.

В береговых наледях Черная Калитва черна по стремнинке, течет в ледяном шторе убыстренно, словно чувствуя близость большой реки. У донской луки, у большой слободы она умирает, впадая в Дон; или, может, напротив, заново обретает рождение?

Большая слобода у донской луки — Новая Калитва — его боль. Там родилась Вера Опенько. И так быстро угасла. Много пепелиц на его родине и в его душе. Но память о Вере — не пепел...

Прошлой весной, на пару дней захавши в Новую Калитву, он вдруг резко, мучительно пожелал пройти тою дорогой от донского берега до суходольного села, какую не раз ходила Вера. В попутчики он пригласил Белокрылова, и они уже поднялись по булыжниковой дороге вверх, за околицу, к развилке, но тут Прасолов вдруг сказал, что этот путь ему надо пройти одному. Настаивалось полнолуние, было светло как днем; цветший в логах боярышник проступал призрачно и сказочно, и шаровидные кусты его словно двигались. Что-то мешало идти. Может, мысль, что весь мир движется дорогой утрат. И все время стояла перед ним, идущим, картина — прошлогодний рассказ случайно встреченного знакомого — рассказ, больше похожий на творимую печаль-легенду.

В летний день, в пору жатвы, Вера шла этою дорогой меж дальними селами. Машины обгоняли, вздымая густую пыль. И в непроглядной пыли ее сбил грузовик. Ее заметили вечером, на обочине. Кофточка была такая белая, словно Веру с ее чистой душой не взяла пыль. Вера лежала, как живая, глазами в небо; кругом белел разлив ромашек — ее любимых полевых цветов.

Если и сгубила ее дорога, то — ранневесенней распутицей, зимней стужей, стылыми осенними ветрами: путь был не близкий и не однажды. И семья, и быт, и даже любимое учительство — все давалось трудно. На уроке надо было много говорить, а горло было слабое, мучила постоянная ангина. И легкие были слабые. Угасла с нездоровым румянцем на лице, сторела тихо и скоро, как тоненькая свеча. Словно вздох земли послышался тогда...

А я стою среди голосов земли,  
Морозный месяц красен и велик.  
Ночной гудок ли высится вдали?  
Или пространства обнаженный крик?..  
Мне кажется, сама земля не хочет  
Законов, утвердившихся на ней:  
Ее томит неотвратимость ночи  
В коротких судьбах всех ее детей.

Но и когда одним дыханием явились эти стихи, рожденные смертью и посвященные памяти угасшей Веры, он чувствовал не столько участливость, «человечность» земли, томимой летучим, скорым уходом всего живущего на ней, но и леденящую ее безучастность: ей, маленькой пленнице Вселенной, преудказан свой путь. Свое зависимое движение.

Не пройдет и трех месяцев — Прасолов уже далеко от Россоши, от Морозовки. Восточная окраина области. Терновка. Редакция районной газеты «Красное знамя» — название, еще десять лет назад отмеченное в его трудовой книжке: в крат-

ковременную бытность его газетчиком в новональтиванской районке. Но и под очередным «Красным знаменем» поэт не продержался и трех месяцев.

В Терновке — ни терний, ни роз. Но поблизости — Савальский лес. Не Шипов дубравный лес — «магазин корабельных строений», не усманские заповедные рощи, не Хреновской бор, где создавалось фундаментальное «Учение о лесе», и все же поэта чем-то притягивал насаженный у Савалы-речки лес; меж сосен, меж осин — березняки, такие белые островки. О Савальском лесе поэт упоминает в письмах. Наваянное им — «живая душа, жегшая костер со мной и без меня на мартовском снегу», — легло в строгий лирический дневник «Огнище»; под стихами — надпись: «1969. Савальский лес».

И в этом поэтическом цикле, столь же ясном, сколь и загадочном, в стихах — свободных, недоступных, тайных — сквозит, погромыхивает давняя, невчерашняя «тьнь беды», не идущая, но ведущая от раннего «знака беды» к позднему «дому беды».

А мне и в день счастливый  
Почудится у ног  
Весеннего обрыва  
Отвесный холодок.

Уже снова из Морозовки Прасолов в письме к Шевченко от 4 августа 1969 пишет, что, когда в Терновке почувствовал себя скверно, а подходящей больницы поблизости не было, он выехал в Воронеж, где и пробыл — проболел — с мая по конец июля. И что же дальше?

*«Снова надо куда-нибудь “втыкаться” в газету: хотелось бы попасть в район поближе к Воронежу, например, в Рамонь. Но дадут ли что-нибудь в этом отношении в обкоме, — не знаю. Неустроенность моя — бич мой».*

## ХОХОЛ. ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ

Хохол — райцентр в полусотне километров от Воронежа — последнее пристанище Прасолова-газетчика. Газета называлась «За коммунистический труд», здесь он проработал более полутора лет — с 1 сентября 1969 года по 27 мая 1971 года.

Село, существующее с семнадцатого века, во второй половине двадцатого переросло в рабочий поселок, — тогда здесь вырос большой сахарный завод. Историческими достопримечательностями Хохол похвалиться не мог. Разве что приезжала сюда в 1931 году иностранная писательская делегация, в которой за руководителя был известный француз Поль Вайян Кутюрье, какой, возвратясь в Париж, написал о Хохле в «Юманите» — главной газете французских коммунистов. Но не обидятся ни Кутюрье, ни немецкий писатель Карл Грюнберг, ни американский журналист Джон Кьюнитц, ни венгерский поэт Эмиль Мардаш — для Прасолова куда существенней, что здесь побывал Твардовский, когда после войны баллотировался в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Теперь в Хохле, помимо памятной доски, засвидетельствовавшей гостевание иностранной делегации, есть и две «поэтические» мемориальные доски: ранее установленная — с именем Александра Твардовского, более поздняя — с именем Алексея Прасолова.

Поселок по внешнему виду был уныло-сер, ни одного здания наособицу, как то было в недорешенных войнами и революциями уездных городках — благодатных островках бывшей провинциальной Руси. Но так случилось, что сколько Прасолов ни менял географически места газетной службы, уездный город, хранитель исторической памяти, так ему и не выпал; ни Острогожск, ни Павловск, ни Новохоперск, ни Бобров, ни Борисоглебск... ни один из уездных центров бывлой губернии; лишь — большие села, при Советской власти отданные под райцентры.

Между тем новообретенная Прасоловым редакция и ее сотрудники пришли к нему по душе. Народ не без творческой искорки, открытый и на шутку, и на серьезное. В дневниковых записях той поры мелькают «редакционные» имена. Кто-то был с ним рядом в командировке, кто-то доставлял его стихи в Воронеж. Редактор Вадим Кордов, вполне понимая, кто к ним пришел, помогал, чем мог и как мог. Анатолий Свиридов и Александр Смирнов позже напишут воспоминания о поэте и журналисте.

В хохольской районной газете Прасолов периодически готовил полосу «Патриот». Районка — что молотилка, успевай снопы подбрасывать. Приходилось писать и о новостройке, и о молоке, и о сорняке. И все же именно «Патриоту» отдавал Прасолов немалую часть рабочего времени. Да и частицу души — тоже. В «Патриоте» — память. Память никогда не стояла на обочине его строки.

Выдавался свободный час — перечитывал Пушкина, Лермонтова, Блока, также Тютчева, Заболоцкого... Иногда пролистывал журналы, давно уже не надеясь найти в них истинно значительное. Переписывался с литераторами. В январе 1970 года получил короткое письмо от Твардовского. О нем в ту пору думал часто: видел, как затягивалась петля.

Ночь — самая большая свобода и несвобода: ночью — стихи.

В жизни — последняя попытка уйти от одиночества. Житейского и иного одиночества. Рабочие столы сотрудников редакции Раисы Андреевой и Алексея Прасолова оказались рядом. «Вдруг» — характерное для прасоловского мира. Здесь же — «все произойдет не вдруг»... а как бы прорастая, восходя, день за днем, исподволь и всерьез.

Весною, в начале апреля, по редакционному заданию им потребовалось выехать в Гремячье. Это — большое долгое село и на холмах, и в низине, у самого берега Дона. Мутно-половодный Дон шел в разлив не по дням, а по часам. В один день дела сделать не удалось, пришлось остаться на ночь. Низинное Гремячье бодрствовало: вода скрыла нижние венцы домов, и в домах — двери настежь, свет горит, никто не спит. Тревожное чувство, но и какое-то необъяснимо странное, небывалое: словно Венеция в трех десятках верст от Воронежа.

Рая на восемнадцать лет моложе Алексея, но и он чувствовал себя молодым, и было в тот час тревоги счастливое двуединство: молодость — это поэзия, поэзия — это молодость.

И с горы мы увидели это:  
Островки отрешенной земли  
И разлив, как внезапный край света, —  
Вот куда мы с тобой добрали...  
Эти кем-то забытые сходни —  
Для шагов осторожных твоих, —  
Так всходи и забудь, что сегодня  
Слишком много дано на двоих.

Скоро он в письме в Россосшь посчитает необходимым сообщить: «Я не один. За другим столом сидит человек по имени Рая Андреева и читает Шиллера — скоро летняя сессия, а она — заочница ВГУ. Работает в нашей газете; в апреле мы скрепили свой союз...»

Они поселились на частной квартире. Комната — проходная.

Осенью в старом доме им выделили квартиру со старой печью. От печки — чад, угольная пыль вредна для легких и поэта, и его будущего сына. Жить в такой квартире — радости мало.

Но еще раньше, в начале лета, Прасолов обращается в правление Союза писателей РСФСР, в письме обстоятельно излагает тогдашнее свое житейское и литературное положение: «*Обстоятельства вынудили меня обратиться к вам с этим*

заявлением. А обстоятельства таковы. Я числюсь в составе Воронежской писательской организации со дня приема меня в члены Союза писателей — с мая 1967. Я поэт, имею три сборника стихов. Работаю над новой книгой “Во имя твое”, которая должна выйти в этом году. Для творчества мне остается очень мало времени — ведь я работаю литсотрудником отдела партийной жизни районной газеты, которая требует полной отдачи рабочего дня и тебя самого. Зато я всегда среди тех, кто кормит страну, — среди колхозников в поле, на фермах. Работа в газете у меня на первом месте, литературное творчество — на втором. Ладно уж, ночь зато моя.

Но и ночью негде работать: я с женой живу на частной квартире. Здесь, в районе, надеяться на квартиру мне не приходится — в перспективе пока ничего нет. Скоро у нас будет ребенок, жить в таких условиях и писать невозможно.

В Воронежской писательской организации лежит уже не первое мое заявление о квартире. Не первый раз я слышу посулы. И только. Ничего конкретного нет.

Район, где я работаю, в часе езды автобусом от Воронежа, бывать в литературной среде я могу редко — от случая к случаю. Да что там делать? Ведь меня по привычке не приглашают даже на обсуждение журнала “Подъём”, не включают в состав бригад, организуемых бюро пропаганды художественной литературы. Я уж здесь сам организовал два литературных вечера — в Доме культуры, в школе. Все это самодеятельность. Прошел очередной съезд писателей. С материалами съезда нас ознакомила “Лит. газета”. В отделении Союза писателей, когда я спросил делегатов, никто не сказал ни слова о съезде, о впечатлениях, о сущем, ради чего делегаты ездили.

Л. Соболев на съезде сказал об участии — самом активном — писателя в газете. Да, пусть я в районной, пусть мой очерк о вывозке навоза, о привесах и тех, кто их добывается, но это — жизнь, которая возмещает недостаток, а вернее — полное отсутствие литературной жизни, которой хочется, которая, в конце концов, необходима писателю. Моя вынужденная отрешенность, отграниченность от организации не может больше рассматриваться как временное явление. Я должен писать, у меня есть чем и о чем писать, но где — даже этот вопрос стал уже многолетней неразрешимой проблемой. В одиночку я ее в моих условиях не могу решить, писательская организация для меня — поневоле — формальное понятие.

Извините за беспокойство. Но вопрос о своем положении писателя я считаю требующим решения и помощи в этом решении.

А. Прасолов. 5 июня 1970»

Ждать воронежской квартиры пришлось почти год. Семейный быт в райцентре оставался неустроенным. Жена, в ожидании будущего ребенка, вынуждена была уехать к своим родителям — в село Челнаво-Рождественское Тамбовской области.

Начало лета семидесятого года. Июнь душен и сух, не дает дышать в полную грудь. Поэту еще нет и сорока, а в иной час накатывает так, что он ощущает себя вдвое старше. Куда подевалось чувство весенней молодости?

Тяжесть исходит из астрономически дальних сфер, от бунтующего солнца, от магнитных бурь. Жарко, тяжело дышит земля. Дни тяжелые. Горизонты тяжелые. Пыльные бури надвигаются с востока...

Когда спадает жара и солнце заваливается за горизонт, он с товарищем идет к берегу речушки. Но свежести и здесь нет. Ему в тягость еще вчера признанный товарищ, ему хочется, ему надо побыть одному, одиночество — спасение!

Назавтра он решает уйти на дальний пруд, по вечерам обычно пустынный. И на другой день в сумерках он действительно добирается туда, и пруд действительно пустыннен. Ни души человеческой.

Одинокая лошадь, едва видимая в темноте, выдает себя тихим ржаньем. Стоит у самой воды. В его жизни уже было это — тишина, заросший, как озеро, полевой пруд, наклоненная к воде конская голова и звездное небо. Большими буквами — Звездное Небо. Мирозданье. И снова, как тогда, он думает о том, что же видится у воды одинокой лошади, ненадолго свободной от седока, от упряжи, от поденщины на кружиле, от всемирного цирка? За одинокой конягой у ночного пруда словно бы угадывались миллионы их, долгие века служивших человеку и на поле брани, и на поле хлебной страды. Тогда родились стихи, которые он вдруг стал читать теперь другой лошади у молчаливого ночного пруда, на фоне звездного неба, где реактивный самолет или космический спутник — как непрошенные гости.

Мирозданье сжато берегами,  
И в него, темна и тяжела,  
Погружаясь чуткими ногами,  
Лошадь одинокая вошла.

Перед нею двигались светила,  
Колыхалось озеро без дна,  
И над картой неба наклонила  
Многодумно голову она.

Что ей, старой, виделось, казалось?  
Не было покоя среди светил:  
То луны, то звездочки касаясь,  
Огонек зеленый там скользил.

Небеса разламывало ревом,  
И ждала, когда же перерыв,  
В напряженье кратком и суровом,  
Как антенны, уши наострив.

И не мог я видеть равнодушно  
Дрожь спины и вытертых боков,  
На которых вынесла послушно  
Тяжесть человеческих веков.

Эту тяжесть веков-оков он ощущал и на себе, и все явственней. Да и текущее угнетало, давило. Получил известие от матери о смерти родственника — близкого человека. Скорбная весть, запись в дневнике: «Могилы нашего рода разбросаны по стране». Запись скорбная и... незаконченная — в смысле драмы самой страны. Трудно предположить, чтобы он не думал далее: была гражданская война, и еще война, был исход — и могилы русских разбросаны по всему миру. Он хорошо знал Бунина, Рахманинова и знал, что на чужбине остались не только они, — сколько русской силы лишилась Россия! И что же дальше? Когда-то Русь в полон уводили на аркане, со связанными руками. А в его веке она — в немалой своей части изгнанная или ушедшая в изгнание.

Записывает в дневнике: «Душа какая-то притихшая, как опустелый дом...» и невольно думает о неизбежном часе, когда весь мир станет как опустелый дом.

Три июньских дня кряду Прасолов приходил на работу с заметным опозданием, чего с ним прежде никогда не случалось. Был особенно мрачен, нервозен, раздражителен, и редактор уже знал — хорошего не жди, но не знал, как нехорошее предотвратить.

В обеденный перерыв поэт упросил знакомого взять для него, до скорой зарплаты, «огнетушитель» — бутыль в три четверти литра плодового вина. А уже после обеда, как скошенный, лежал на затравелом заднике двора под палящим солн-



цем. Руки вразброс, весь как живой крест. Глазами в небо, но Неба не увидеть. Он себя не помнил, он не чувствовал, что он есть. Когда же пришел в себя, кругом чернела ночь и во дворе никого не было. Сначала он обрадовался, что его никто не видел — такого, а затем вдруг по-детски обиделся: почему никого нет рядом, неужели никому неохота ему помочь?

(Чем помочь, Поэт, какую правдой и силой? Сколько русских, да и только ли русских, даровитых, талантливых, честных сердец погубло от «горькой»!)

Объяснения же образу жизни творца и его подчас печальным пристрастиям, в том числе и «зеленому змию», существуют самые разнообразные — биологические, психологические, генетические, социальные, даже политические.

«Мы тоже дети страшных лет России. Безвременье вливало водку в нас», — это Владимир Высоцкий. А его любимая песня — «Вставай, страна огромная!», и он, по-платоновски понимая, что «начальство не равно Отечеству», внимает шагам страны, презирая шажки временщиков.

Районный поселок Хохол спал, и когда Прасолов зажег в доме свет, тот был единствен на всей улице. Поэт умылся холодной водой, ему стало лучше. Он принялся на ночь глядя перебирать бумаги, попалося на глаза пять лет назад им написанное — «О Есенине вслух». И его словно бы утянуло в текст — в самую глубину, в нужные, точные строки: «Есть в поэзии Есенина страшная сторона — Черный человек. Тот, кто примет его в свою душу, погубит в себе живое, надломит себя. Черный человек отнял у нас поэта. Молодежь часто ограничивается одной стороной Есенина — отчаянной удалью, раскованностью молодой души. Эта душа буйствовала, даже хулиганила. Но в ней кипел избыток сил, которые творили, им было порой тесно, и они вспыхивали ярко до дерзости. И мерзко выглядят те, кто, подняв непосильный стакан, пытается “приобщиться” к этому буйству чистых сил».

Он трижды повторил — «Мерзко выглядят те...», резко произнес, будто надавил карандашом. Карандаш сломался...

Может быть, и в каждом человеке пребывает демоническое. Притаенное. Или спящее. Или подавленное. В поэте — более других. Демоническое в том смысле, как понимал его Стефан Цвейг, — выход за пределы «я»; то беспокойное до одержимости состояние, которое гонит человека «в беспредельность, в стихию: словен природа оставила в каждой отдельной душе неотъемлемую беспокойную частицу своего первобытного хаоса...»; и далее: «Жизненное беспокойство всегда служит первым признаком демонического — беспокойство крови, беспокойство нервов, беспокойство ума...»; беспредельность, по убеждению Стефана Цвейга, — исконная природа всего демонического.

«Беспредельность», «запредельное» — ключевые слова у Прасолова. Главный его хронотоп — обратимся к научному определению, которое «обнаружил» и впервые точно применил Михаил Бахтин, — хронотоп пути-дали. Хронотоп Запредельности. Хронотоп Вселенной.

Но не поджидает ли в конце пути первородный хаос? Грекам представлялось, что Александр Македонский дошел до самых границ Хаоса. То — полководец. А как быть поэту? Полководцу дано не бояться войн и разрушений. Но как быть творцу, мечтающему о мире и гармонии, но тревожимому и вспышками демонического? Невольно тянущемуся заглянуть в бездны хаоса? Стефан Цвейг говорит, что Поэту, Художнику ничего иного не остается, как или победить Демона, или подчиниться ему. Гете — победил. Ницше — потерпел поражение, может, даже и не захотел победы. У русских победил Пушкин. А Лермонтов? А Блок? А Есенин? Прасолов острее многих чувствовал, что за гость «черный человек», некий иной образ демона, черный непрошенный асмодей души, все вокруг предающий соблазну и разрушению.

Наутро Прасолов пришел в редакцию вовремя. Вид у него был строгий, но и словно покаянный — вид человека, который решается на трудный шаг. Редактору он попросил позвонить в обком, попросил дать возможность месяц-два полежать в больнице, подлечиться.

В больницу его доставила редакционная машина. Но прежде Прасолов побывал на холме, с которого видно Дон, задонскую даль. Долго и молча стоял. Дон был намного уже, чем на юге области, но и здесь судоходство не обрывалось. Две баржи, груженные битым камнем, прошли вверх и вниз, огибая друг друга. На противоположном берегу загорали детишки. На лугу пасся табунок стригунков. Вдалеке скорее угадывался, чем виден был Воронеж. Благодать или обманчивая благодать?

Неподалеку больница, печально известная Орловка, где ад и рай переплелись в «вывихнутых» человеческих душах, где в зарешеченных палатах пытается выздороветь «смещенная безумьем жизнь»; где больных пытаются излечить от «горькой», от устойчивой тоски-подавленности, от чувства преследования, не засыпающего ни на ночь, от навязчивых маний...

Поэт пробудет в лечебнице полтора месяца. И выйдет со стихотворениями, каждое из которых как фреска; одно другого трагичней и лучше. Трагедия угадывается уже в начальных, назывных строках — «Вчерашний день прикинулся больным...»; «И вышла мачта черная с крестом...»; «В тяжких волнах наружного гула...»; «Она вошла во двор несмело...»; «И опять возник он, с темным вязом...»; «В ковше неотгруженный щебень...»; «Приподнятые уносила плечи...», «Торжествует ночное отчаянье...»; «Черная буря идет по земле...»

«Черная буря идет по земле — буря с Востока...», но как же — экс ориенте люкс? С востока свет? В прасоловском стихотворении и метафизический, религиозный смысл. И может быть — экологический и символический. Идет затмевающая солнце черная пыль, «черный мой снег»... Невольно вспоминается «черное солнце» из «Тихого Дона».

На исходе лета он вернулся к прежнему газетному делу.  
А на исходе года — 26 декабря 1970 — родился сын.

Тебе, кого я в мире жду,  
Как неоткрытую Звезду,  
Ждет днем и ночью Человек,  
Уже забыв, который век...  
Уже — ни молодость, ни старость,  
Уже светил круговорот  
В глазах пошел наоборот,  
И Человеку показалось,  
Когда свой взгляд он устремил  
На небо, — не звезда рождалась,  
Рождался заново весь Мир.

Рожденный сын. И словно бы заново рожденный поэт.  
31 декабря, в полуночный праздничный час, пишет:  
*«С Новым Годом, мои родные!!!  
Нас трое... позвонили с почты: у Прасолова сын...  
Имя, данное мной, одобрили — русское, хорошее... Михаил!!!»*  
Друг Михаил, в его честь? Но и — Михаил Лермонтов? Михаил Ломоносов?  
Михаил Черниговский?..  
А по ночному небу — Михаил Архангел.

## ДИВНОГОРЬЕ

Семидесятый год закончился, ушли его дни, в каких привычно отсоседствовали поденщина и поэзия, быт и дух. Новый год Прасолов встречал в санатории для легочников.

Санаторий размещался в стенах бывшего Дивногорского монастыря, на берегу Дона. Сверху нависают меловые кручи, белые меловые столпы — Дивы. В узкой прибрежной полоске меж рекой и кручами тянется железная дорога, день и ночь стоит гулкий грохот. Санаторный, лечащийся люд — «народ всякий — больше тяжелый по-обывательски. Когда эта продукция иссякнет на Руси? Молодежь хуже стариков».

И, однако, уголок выдался действительно дивный, может, лучший в жизни поэта, если б не болезнь. Сокровенная пядь! В самом названии «Дивногорье» — восторженная, высокая высота, и предание, и миф, панорама географическая и историческая; словно бы естественная вписанность в ряд духовных названий, значимых для славянского слуха: Святогорье, Белогорье, Беломорье, даже Беловодье.

Четверть часа вязкого подъема вверх, и с кручи открывается «огромной дали полукруг», и даже весь круг — просто необозримый, будто внегоризонтный. Время и пространство — как единое целое. Под небом вечности человеческая история — словно маленькая девочка, на древних холмах, в молодых травах оставляющая свои бегущие шаги. Протяженность истории здешней — зримая: сохранившая свои валы и стены хазарская былая крепость, выше по течению реки, на придонских холмах — славянские городища, в широких полях — скифские и бог весть чьи курганы. Дон — бирюзовая дорога, на которой умеющий видеть разглядит и древние переправы, и средневековые суда духовных посольств из Москвы в Константинополь, и струги Фрола Разина, Степанова брата, с напрасной надеждой — взять приступом близкий, верный государственной власти Коротояк. А как не увидеть Петровской армады, плывущей штурмовать Азовскую крепость? У Дивногорья флотилия причаливает на отдых. Пушки палят, черноризцы крестятся. И горним молчанием молчат Дивногорские пещеры, прорубленные монахами киевскими по благословию митрополита Киевского. Митрополита Могилы. И сами пещеры, с подземными церквями, для неверующих, маловерующих, иноверующих — что могилы, но для верующих — что горние обители.

Прасолов уже на второй день Нового года пишет «дивногорское» письмо, из которого существенное можно прочесть и понять в человеке, поэте, даже если до этого не знать его, не знать ни единой его строки.

*«...С 15 лет... впервые мне стало понятно, что такое Одиночество — как мой Рок, как клеймо на лбу, как тавро, которое не стерли ни материнские, ни женины руки — тогда, не сотрут никогда и теперь...»*

*Одиночество без прописки живет со мной, как и я, в моей келье — душе моей: я с ним пришел и уйду...»*

(Все-таки странное, малоожиданное начало письма к молодой жене и матери его сына-младенца: семья как триединство отца, матери и дитяти едва образовалась, а над нею уже повеяло холодком распада. Замаячила тень уходящего одинокого. Одинокий мужественен и безжалостен: ему не дано утешать или же он не хочет утешать, в милосердии поступаясь истиной. Истину и гуманизм не срывать. Правда выше всякого утешительства. И даже — выше любви?)

*«И уйду я в мир, который М. Лермонтов назвал своим домом:*

*Мой дом везде, где есть небесный свод,  
Где только слышны звуки песен...»*

(Песни поют люди на земле и ангелы в небе. Но дом человеческий — и на земле, да под небесным сводом! Все и вся — Небо, его горная высь, его земная драма. Небо космически, метафизически, онтологически живет в прасоловской строке: движутся светила, сгорают звезды, грозно сверкают запредельные, надмирные сполохи, бесконечно равнодушные, чуждые земным человеческим судьбам. Космический холод и мрак. Но если не в прасоловской строке, то в прасоловской душе, взыскующей Неба, есть место Вседержителю?)

*«Да, это Дом колхозника — Дом Беды, которую, как ни парадоксально, я назову частицей мира — счастья моего — смеха сквозь ночные слезы (о, сентиментальность взамен мужества!). Да и слез не было — оттого не легче на душе...»*

(Реальный Дом колхозника в поселке Хохол, давший короткий приют районному газетчику, под пером поэта обретает жесткий символический образ Дома Беды. Парадоксальность — движение черно-белых контрастов, сближение несоединимых берегов, противостояние враждебных и родных полюсов — обычное проявление прасоловского поэтического мира, его дара, его поэтического сердца, способного даже в трагическом видеть намек на счастье.)

*«А обстановка — располагает — и духовная, и предметная. Люди передали себя нам через храмы в пещерах, где я брожу (вчера еще был в Больших Дивах — церковь относится к XVII веку и служит по большим праздникам...)».*

(Дивногорские пещеры — как вход в духовное, идущее от апостольской церкви: пещеры — в глубинной толще земли, но свечи и иконы зывают к Небу. Поэт не забывает упомянуть пещероустроительную монашескую братию: несущий в себе знание прошлого и прозрение будущего, он всегда помнит об ушедших, кто истово исполнил свое дело на земле.)

*«Я удивляюсь, как много можно написать в санатории, где ты полубольной, полудоровый — а фактически свободный человек...»*

(Он об этом уже говорил, действительно так: большинство стихов написано в обстановке, к литературным трудам мало располагающей. Больница — человек заключен, тюрьма — вовсе заключен, а в санатории по рукам и ногам связан лечением и режимом. Но дух-то человеческий свободен. Свободен и в санаторном корпусе, и в тюрьме, и в больнице. Здесь самый раз сказать, что Поль Верлен, вынужденный писать в больницах и даже о больницах, более предшественник Прасолова, нежели растиражированный в местной литературной среде Франсуа Вийон; разумеется, все эти параллели-сближения, достаточно поверхностные, напоминают литературные упражнения, и смысла в них мало, если вообще таковой в них существует.)

*«Я давно не младенец, но по-младенчески имею неиспорченное зрение на мир — вот мое спасение — моя Муза зрячая... Личное и “гражданственное” — родня, во мне и обретает свой голос все крепче и крепче...»*

И удивительное, может, прежде небывалое в его атеистическом окружении, в нем самом, — не ребенке, когда он с матерью выстаивал на пасхальной службе в сельской церкви, — в нем, нынешнем: «...Иду рано утром за 4 км, в Дивы — на богослужение в пещерном храме...»

В прежних его тематически религиозных стихах, весьма малочисленных, есть серьезные мысли и образы, тонко подмеченные штрихи о небесном и земном, верующих и неверующих, однако отсутствует то, что именуется «чувством Бога», что есть неизбежная явленность божественных начал в душе и сердце. «Но, Господи, твой византийский лик не осенил мальчишеского сердца», — это из того же стиха, где спасительницей стоящего в голодной очереди подростка военной поры выступает «не Матерь Божья — тетенька из ОРСа». Всякие бывали «тетеньки», и читать подобное — грустно. Но в таком времени жил и писал поэт, в эпохе, кото-

рая тилилась устроить земное счастье без Бога. В религиозных стихах на цензурно-литовских этажах углядывали переизбыток религиозной лексики, и слова — Бог, Господи, слава Богу, душа, дух — прорезивались, как при прополке, а уцелевшие шли отнюдь не с заглавной буквы.

Он каждый день — на высоком просторе, под высоким небом. Снова начинает рисовать. Карандашом наносит в записной книжке белые Столпы-Дивы, пещерный храм.

И пишется ему здесь, как редко бывало прежде. Поэма «Владыка» («Дивы»), стихи «Казачья дума», «Дивьи монахи», «Сыну» — навеянное Дивногорьем и в Дивногорье созданное. Здесь же завершает и маленькую трагедию «Безымянные».

Готовое шлет в Воронеж, в столичные журнальные редакции. Последние свои сборники высылает Стукалину и Пескову — давно москвичам, но и всегда воронежцам, младокоммунаровцам.

А скоро и Прасолову приходит ответ от Стукалина. В нем — обстоятельная, чуткая и в чем-то вопрошающая оценка последнего прасоловского сборника, да и всей сущности прасоловского слова. Ответ окрыляет. С женою спешит поделиться впечатлением: «Ответ в двух словах не передашь — это ответ на все, что мною уже сделано в жизни. Я наконец понял как поэт — до глубины».

В начале марта 1971 года, пройдя санаторное лечение, поэт покидает свое нечаянное «Болдино» — Дивногорье. Но прежде чем приступить к районному газетному делу, Прасолов спешит навестить жену и маленького сына. Тамбовская область, село Челнаво-Рождественское, — по этому адресу он еще недавно слал письма. Добирался туда так: от Тамбова до Дегтянки летел самолетом, а оттуда — семь километров до Челнаво-Рождественского — пешком. Снег желтовато белел, но уже оттаивал. Начиналась распутица. В привычку была эта распутица еще с ученических лет, эта надежда на свои ноги.

Жена с маленьким сыном жили у родителей — в большом деревянном доме, незадолго перед тем выстроенном. Дом стоял на улице, шедшей к реке, а улица называлась «Москва». Таким образом поэт словно бы снова побывал в Москве.

Что чувствовал он, встретившись с женой и впервые встретившись с сыном, и что чувствовали они, только он и они и могли бы в точности рассказать. Всякая сторонняя приблизительность здесь что бестактность.

Прасолов прожил в Челнаво-Рождественском чуть меньше недели. Каждый день бывал у реки. Река Челновая — не вещь какая, через нее мосток из жердин перекинут, а за речкой, на той стороне, — лес. Поэт и туда ходил, и по ту сторону реки однажды себя на миг почувствовал — как по ту сторону жизни.

С дороги написал письмо маленькому сыну — как взрослому написал.

Возвратясь в Хохол, Прасолов возвращается и к давно постылой газетной поденнице. Но длится она недолго. В мае семьдесят первого года областная писательская организация выделяет ему квартиру в Воронеже, куда он и переезжает.

Первая половина года сложилась для него, пожалуй, удачно. Он поправил здоровье. Пусть и на короткое время, обрел свое «Болдино» — целебное Дивногорье. Он получил стукалинское письмо — вдохновляющее, напутственное. Он, наконец, в собственной квартире, какую так долго ждал. И квартира — в Воронеже, где есть издательство, журнал, газеты, где есть возможность печататься.

Но скоро он снова и надолго попадает в больницы, а когда возвращается в свою квартиру — нагая она, пустая, равнодушная, и поэт чувствует себя в ней, как в западне.

## ВОРОНЕЖ. ДОМ БЕДЫ

Когда подъезжаешь к Воронежу с юго-западной стороны и уже минуешь развилку росошанско-острогужской и курской дорог, близко от города, почти на глазах его, с левой, семилукской стороны подступает к шоссе карьер. Глубоко выбранные глина и песок. Исполинский карьер, на дне которого экскаваторы и люди кажутся инопланетными пришельцами. «Карьер — как выпитая чаша», «Ноет темная утроба»? Карьер — словно кратер небывалого на земле вулкана. Зеркала воды на дне карьера отражают небо, но и словно погружаются в бездны преисподней. Выбранный грунт пошел на обычный и огнеупорный кирпич, из него человек сложил высокие здания и горячие домны, но почему-то мысль об этом не согревает. Видишь иссохшие травы, смертно зависшие над искусственной пропастью дубы и вязы. Гибнущий лес. Ушедшие воды.

Прасолов, окончательно переезжая из Хохла в Воронеж, ехал как раз мимо этого карьера. Мимо и не мимо: тот, как оспина на лице земли, но оспина и в его сердце. Там неволя его. Звезды, разумеется, видишь и со дна карьера, но лучше взгляды-ваться в них с высоты горной гряды.

Карьер в литературе — часто метафора низа, пропасти, бездны. Он же и реальность прасоловской жесткой жизни.

Котловина, оставленная рабочими («В ковше неотгруженный щебень...»), встречает угрюмым молчанием и забытьем. Призрак беды? Сплошь неживая окрестность? Но угасающий день освещает уступы-границы, еще не схваченные тенью, и они словно бы горят. А в провал, стуча, осыпается, скатывается камень. Есть свет, и есть движение. И призывно поданный тогда человеческий голос не замирает — с «таинственно-диким вниманьем» он принимаем некоей провальной стеною. Он преображается, стократно усиленный, «огромный, пещерный». В заключительной строфе — ключевое прасоловское триединство: бездна, человек, небо. Идут природа, человек, история. Когда-то жившие в исторически далеком времени слышат (должны услышать!) слабый голос нынешнего человека:

И бездна предстала иною:  
Я чувствовал близость светил,  
Но голос, исторгнутый мною,  
Он к предкам моим восходил.

Уже написан «Дом Беды». И хочется вернуть время назад и просить, просить поэта назвать стихи иначе. В народе говорят, что когда беду окликаешь — ее же невольно и призываешь. И беда есть беда, даже если она и своеобразная провозвестница будущей радости. Дом беды — сердце человеческое? Кровь, где живут знакомые и незнакомые? Малое твоё село? Огромный город? Вся страна твоя? Весь земной шар?..

Прасолову надоело кочевать, мытарствоваться, мыкаться из угла в угол, когда любой — как будто бы свой, да не свой. Ему хочется оседлости, хочется действительно своего дома. Но квартира истинно родным домом стать не может, это, скорее всего, вольная тюрьма, заставленная нужными и ненужными вещами. И все же! Какой-никакой свой угол, где всегда найдется место письменному столу.

Выделенная поэту квартира прежде не раз переходила из рук в руки. Не до свежести и чистоты. Две комнаты на первом этаже, окна затенены ветвями, в квартире — полусумрак. Летом — прохлада, а зимой — как в подвальной леднике; не все зимние месяцы, разумеется, но случается, что в квартире немногим теплее, нежели на улице, — предупреждают соседи. Но до зимы — еще дожить. Большая ванная, в ней тяжелая черная чугунная труба с черным зловецким отростком под самым потолком. Двухэтажный дом с несколькими такими квартирами ничем не

отличим от ему подобных в ряду стоящих. Построен вскоре после войны, грубо и наспех.

Давно ли совсем близко празднично шумел ипподром, часто проводились бега, и улица, на которой стоял прасоловский, вечно-желтое выкрашенный дом 65, квартира 6, — называлась Беговая. Ипподром закрыт. Теперь-то кому и куда бежать? Разве что в древнее и недревнее былое?

Скифами оставленные Частые курганы — за двумя-тремя километрами от дома. Их не видать, они придавлены массивами многоэтажек. А в начале века здесь велись раскопки, и был извлечен серебряный сосуд, на котором изображен скифский царь с сыновьями; редкостная историческая ценность, хранимая Эрмитажем. Может, именно здесь окраина скифо-сарматского мира?

А у реки Воронеж, тоже за немногими километрами от дома, на лесном побережье — цепочка славянских городищ и могильников... восточная окраина средневекового славянского мира? Легендарный Вантит?..

Снова совсем близко война: въяве напоминает о себе траншеями в Ботаническом саду, иссеченной рощей Сердце с ржавыми осколками в стволах деревьев и пробитыми касками в земле.

Памятник Славы на Задонском шоссе в полуверсте от дома на Беговой, и Прасолов приходил сюда часто. Его тянуло сюда. Здесь и явилось ему скорбное, мужественное — «Я умру на рассвете...» Только ли ритмическая переключка с реквиемом Твардовского — «Я убит подо Ржевом»? Нечаянная или сознательная? Как преемственность?

У памятника невольно вспоминались слова Твардовского — «Наша вечная слава. Кто завидует ей?» Вечная? Имена на мемориальных плитах — бессильные имена погибших, медленно и неумолимо уходящих в забвение. Бетонно-бронзовый мемориал не мог дать бессмертия. И вечный огонь, будь он и с заглавных букв, всего лишь огонь, взятый у ближнего газопровода. Что ж, наверное, у памяти должны быть и сущности, и символы, пусть даже и неудачно найденные.

Иль проходит по ночи  
Запоздалый трамвай?  
Жизнь покоя не хочет,  
Что же, сердце, вставай!  
Сердцу нужно на ощупь  
Встретить чью-то ладонь.  
Первый встречный средь ночи —  
Это Вечный Огонь.

У памятника Славы поэт, случалось, оставался до утра. Будто здесь обретен еще один квартирный угол — без стен и крыши. Под небесным пологом. Пространство, уходящее в бесконечность. Но и — остановленное городской окраиной. Имелись скамейки и бревна, приспособленные под скамейки. В поздний час изредка забредали сюда влюбленные, мимо памятника проносились машины, и ночью не замирала здесь жизнь.

И все же окраинная городская пядь несла на себе зримую печать гибели и смерти. Эти мемориальные столбцы фамилий. Эти братские захоронения сибиряков, защищавших Воронеж.

А через дорогу наискосок от памятника Славы — Коминтерновское кладбище. Главный воронежский погост. Скорбные десятины земли, вечный покой погибших и умерших. Впору было подумать, что здесь самый верный уголок для уединенного часа каждому, в чьем сердце еще живет жизнь, но и уже поселилась смерть. Скорбная, искренняя, необманная пядь.

Когда Прасолов в лето шестьдесят шестого жил здесь, в частном домике у кладбищенской ограды, нередко заглядывал он и на кладбище. И как навязчивую, но

дорогую мелодию повторял — «У забытых могил пробивалась трава...» — начальную строку одного из ранних блоковских стихотворений. Теперь еще одна строка все того же блоковского стихотворения произносилась им десятки раз, словно бы, повторяемая, давала будущность человеку, живущему без тяги к будущему, — «Только здесь и дышать, у подножья могил...» Что ж, более всего у могил чувствуешь свою ответственность за себя и за всех, здесь очищаются душа и совесть, здесь и вспоминаешь ушедших, и думаешь о живых.

Удивляющий штрих. Почти в том же возрасте, что и Блок, в двадцать два года Прасолов пишет стихотворение, родственное блоковскому, через смерть утверждающему жизнь, смертью преодолевающее небыть.

...Пройду по памятным могилам,  
И снова здесь, наедине  
Предстанет мир живым и милым —  
Открытым мне.  
И смерть провозгласит рожденье...

Откуда у него, возвращенного в атеистической государственной реторте, это «Дай Бог нам...», это «И смерть провозгласит рожденье...» — высокорелигиозное, истинно христианское, православное?

Разумеется, мысль о смерти как переходе в жизнь вечную — не новейшее откровение. Естественная у отцов церкви, у религиозных мыслителей, она явно занимает и художников двадцатого века, не говоря уже о философах, поэтах более ранних, неатеистических времен.

Здесь, на окраине крупного города, которому прогресс раздвигал границы, наращивая его железом, стеклом, камнем, здесь в осенний пасмурный день с холодным ветром и небо застилающим вороньем, при виде бетонных многоэтажек, выросших в недавнем поле, поэт напишет на одном дыхании:

Осень лето смятое хоронит  
Под листвою горючей,  
Что он значит, хоровод вороной,  
Перед белой тучей?  
Воронье распластанно мелькает,  
Как подобье праха, —  
Радуясь, ненастье ль накликает  
Иль кричит от страха?  
А внизу дома стеснили поле,  
Вознеслись над бором.  
Ты кричишь, кричишь не оттого ли,  
Бесприютный ворон?  
Где проселок? Где пустырь в бурьяне?  
Нет пустого метра.  
Режут ветер каменные грани,  
Режут на два ветра.  
Из какого века, я не знаю,  
Из-под тучи белой  
К ночи наземь пали эти стаи  
Рвано, обгорело.

Какая временная, пространственная необозримость, но и замкнутость — эти вороны, посланцы из далеких столетий, вестники ненастий под долгим ветром, и эти каменные грани, которым ни ворон, ни ветер — не указ и не эхо тревоги.

Никогда у Прасолова не было страниц в жанре сугубо историческом. Но и никогда он не бывал глух к эху Истории, к судьбе былых племен, былых поколений,



кроваво-пыльным дорогам их страданий, жестоких побед и поражений. На погосте прошлого «не враждует прах с безгласным прахом», ушедшие молчат и все же непостижимым образом взывают: «Мы жили в мире — не забудь!» И, перелистывая свою жизнь у древнего кургана или недавней могилы, человек возвращается к людям не таким внесочувственным, безлюбим, беспамятным, каким был прежде, но возрожденным для любви и памяти.

Поэт и в природе обнаруживает тоску по умиротворенности, покою, усталость от вечных бурь, и в нем самом — сострадание и даже смирение, ранее казавшееся пережиточно-унизительным. На последнем году жизни он пишет непривычно щемящее стихотворение — элегию осеннего, на тленье обреченного листа.

Тут — живая боль, лист под тяжестью дождевых капель — словно чувствующее свой исход сердце, падающий лист — гибнущая вселенная.

Листа несорванного дрожь  
И забытье травинки тощих,  
И надо всем еще не дождь,  
А еле слышный мелкий дождик.

Сольются капли на листе,  
И вот, почувствовав их тяжесть,  
Рожденный там, на высоте,  
Он замертво на землю ляжет.

Но все произойдет не вдруг:  
Еще — от трепета до тленья —  
Он совершит прощальный круг  
Замедленно — как в удивленьи.

А дождик с четырех сторон  
Уже облег и лес, и поле  
Так мягко, словно хочет он,  
Чтоб неизбежное — без боли.

Косые дождевые струи соединяют небо и землю. Дождик скрывает человеческое устроенье: в его завесе большой город — как сизый призрак. Может, и лучше, что в нужный час скрывает: не все, что видишь, радует. «И наблюдал людское племя, и, наблюдая, восскорбил», — вспоминаются поэту слова любимого им Боратынского...

Пульсируя кинжальными просверками бортовых огней, над Воронежем, над Задонским шоссе пролетали большие самолеты, и в какую даль ложился их курс, поэт уже не хотел знать. И никуда не хотел лететь.

Аэропорт теперь был далеко за городом — мощный, представительный, не похожий на старый — «домашний» и навсегда памятный Прасолову полетами на местных авиалиниях. И навсегда закрытый.

Аэропорт перенесли,  
И словно изменился климат:  
Опять здесь морось, а вдали  
Восходят с солнцем корабли.  
Я жил как на краю земли —  
И вдруг так грубо отодвинут.

Отодвинут? Ощущение реальной отодвинутости — в общей неустроенности: быт без быта, болезнь без надежды на решительное выздоровление. Осенью — снова больничная койка в городском тубдиспансере. Быт и быть — рядом.

Горестное признание — «как в эмиграции: людей тьма, но все — по себе».

И все же есть уголки, где его рады видеть, слышать. И в перерывах между больницами он идет туда.

В пасмурный сентябрьский день он приходил к главному редактору Центрально-Черноземного книжного издательства Александре Жигульской, которая тонко и верно чувствует поэтическое слово и которая высоко ценит прасоловский талант. В крохотном кабинете на третьем этаже они долго беседуют о литературе текущей и сходятся на том, что писатели, подчас даже из серьезных, не смеют, не умеют или не хотят говорить о главном в жизни. Народная судьба — перед их глазами и сердцами, а они — словно зашоренные или же предпочитающие видеть парадно-пышные клумбы в солнечный час.

И вдруг Прасолов вне всякой связи с предыдущим, по-детски доверчиво, наивно и не без горечи переводит разговор на себя и свое будущее. Дескать, живет в деревне крестьянка-мать и знать не знает, какой у нее гениальный сын; а узнает лишь тогда, когда он уйдет из жизни. Скоро уйдет. И не дав возразить, добавил, что, если бы и не пожелал уходить, так все равно помогут уйти...

И так же вдруг, здесь уже повторяясь, стал рассказывать о случае, который «оценщики» серьезных имен и всякого рода событий сбросили с языка и пустили по городу как некий литературный казус, коллективную хмельную шутку-песку троих друзей. Какие друзья у одинокого? — мог бы возразить Прасолов. Друзья детства и наставники юности — да, но они далеко от Воронежа.

И снова главный редактор, женщина, перед эмоциональным и умственным взорами которой за последнее десятилетие прошла едва не вся литература большого края (как серьезно-психологическая, так и приключенческая, детективная), выслушивает «утопленническую» исповедь. И река не глубока, да глубока, когда ночь темна и хмель темен. И один — не родня двоим.

Красноречивый штрих. Историю с ночным принудительным купанием поэт вскоре излагает вновь. На этот раз — писателю Евгению Титаренко. Вновь возвращается на темную ночную реку Воронеж, где его сталкивают с лодки...

(Много позже поэт Виктор Поляков, искренне сокрушаясь, рассказал мне про ту летнюю ночь на реке, но несколько иначе. Хмельны одинаково и не сильно были все трое — и Алексей Прасолов, и Павел Мелехин, и Виктор Поляков. Может, ничего бы и не случилось, если бы в зашедшем разговоре-споре о писательстве двое не стали расхваливать шумливого и многопишущего столичного стихотворца. Прасолов не без язвительности посоветовал двоим поспешить в Белокаменную, да в парадных ботиночках поспешить, дабы коснуться фалд столичного «храбреца». И тут же, стоя на корме лодки, резко обрушился на «орден интеллигентствующих», в котором вольготно живет-ся-пишется интеллигентам либеральным и революционным, советским и западным.

Про «орден интеллигентствующих» — можно верить. Здесь вспомнишь и сон, какой однажды приснился Прасолову в бытность его в Репьевке и, видимо, поразило его, поскольку даже зафиксирован в дневнике: «Какая-то орава интеллигентов швыряла в меня яблоками».

«Орава интеллигентов» — это, разумеется, не народные интеллигенты-просветители, земские врачи, учителя, агрономы, инженеры, провинциальные подвижники культуры. Это та мифотворящая, фрондирующая, жирующая публика, от которой гневно отшатнулся Блок; это интеллигентствующая публика, которую Бунин назвал — «Подлое племя, совершенно потерявшее чувство живой жизни, изолгавшееся...»; это бал агрессивных и сытноблагополучных, какого сторонились многие честные писатели — от Чехова и Булгакова до Бродского и Даниэля. Да и раньше, и позже.

Это та «интеллигент-привилегент-образованщина», которой всегда ненавистен «дух вандейского навоза», чужда народная боль и которая в старых ли, новых ли, сверхновых формах всегда готова «заявляться», провоцировать безответственные идеи и лозунги, лукавить, предавать, взбираться на танки, как на подмостки эст-

рады, хвататься за «автоматы свободы», подписывать угодливо-расстрельные письма ко всякой власти, какой бы неумной и бесстыдной ни была последняя.

Поэт стоял на корме лодки, раскачиваемой все сильнее и резче...)

В последнюю осень Алексея Прасолова чаще, нежели кто-либо, навещает Евгений Титаренко. Его родная сестра Раиса — через пятнадцать лет Раиса Максимова, весьма тщеславная первая леди государства, — была замужем за Михаилом Горбачевым, тогда еще провинциальным партийным секретарем. Но и когда Горбачев станет генсеком, в жизни писателя Титаренко мало что изменится, разве что приглядывать за ним будут многоглазо, «оберегая», дыша в спину, опасаясь, чтобы он не наделал чего громкого, из ряда вон выходящего. Но тогда, в последнюю прасоловскую осень, он был вполне свободен. Он опубликовал хорошую, мужественную повесть «Минер», детские-юношеские книги писал и далее. Но и пил — сжигал себя не жалеючи. И было в нем братски роднящее его с Прасоловым.

На несколько недель Титаренко, упрощенный Прасоловым, перебирается в дом по улице Беговой, в квартиру номер шесть, угрюмую, как палата номер шесть. Своим участием и словом скрашивает поэту его неприкайнное постылое житье-доживание.

Было переговорено — так говорят, разве зная, что скоро истечет последний час. Говорили о разительно меняющемся мире и о стране, которая словно бы приостановилась, раздумывая, как быть дальше. Говорили о высоких именах — Кольцове, Буние, Платонове, одинаково дорогих для обоих. И о местных литературных нравах — тоже. Разумеется — и о женщинах.

Тягостный час. Поэт, не жалуясь, с горечью признается, что для встреченных им и ставших ему близкими женщин он не может и не хочет найти высокого слова. Но ведь это слово у него уже найдено! — изумляется писатель. Поэт произносит немногие женские имена и говорит о них отсутствующе — как о чужих. Звучит тем горше, что звучит в беспощадно трезвом состоянии...

Между тем от матери поэта можно было не раз слышать о юношеской влюбчивости ее сына — мол, не то что в зацветшую вишню, а и в сухую грушу мог влюбиться.

Но жизнь испытывала и душу, и тело. Осенья, 1965 года, запись в его дневнике: «К черту все!.. Буду волочиться за девками, а не писать скушные стишки!..» — конечно же, настроение малопрасоловское, точнее, вовсе не прасоловское; минутное настроение, нечаянно слетевшее с кончика пера.

Многие, да и Титаренко, были свидетелями тому, как Прасолов шел по главной городской улице. Слово по безлюдной дороге. Навстречу — красивые женщины, причудливый живой, движущийся цветник, но он не замечал, думая о своем.

«Все женщины ведут в туманы?» — Цветаева, разумеется, знала, о чем говорила. Но колдующе высказанное — в один цвет, а разговор здесь — никогда не полный и никогда не закончится. И от женщины — женственность. И материнская верность, и сестринское участие, и невестина красота и чистота. А женскозвучащие муза и любовь?

Муза и любовь овевают. В прасоловской поэтической строке — любовь строгая и высокая, здесь «предельная чистота», которая побеждает и искупает на земле человеческую пошлость. Здесь «руки женские — лучи», здесь «доверчивость нетронутой души», здесь «праведные слезы»... Велика «очистительная власть» жертвенной любви, побеждающей эгоистическую влюбленность. Никуда не деться — есть и «обреченная ночь», коль не уходят и не уйдут эхо тревоги, тень беды, гул бездны.

Нет, не изменил он завету Блока, слова которого о сущности поэта истинного

сопутствовали ему всю жизнь, — «Он весь — дитя добра и света. Он весь — свободы торжество!»

Три последних месяца Прасолов чаще в больнице, реже дома. Пишет мало, больше вспоминает, размышляет. И словно то узкая, то широкая дорога его жизни — его времени, густо заполненная людьми, машинами, предметами, содержательными или пустыми встречами, сценами, книгами, вернулась вспять. И он, не имея возможности ничего на ней отменить, переиначить, отвести от себя, все видел и переживал снова.

И вновь, и вновь с едва выносимой болью в сердце думал о Твардовском, смерть которого и его надломила так, что уже трудно распрямиться. Чтобы приглушить тягостное, он пытался читать овеянного уверенностью победы «Василия Теркина», но почему-то невольно шло на память — «Я убит подо Ржевом»...

И благодарно, но и мучительно думая о Твардовском, давшем народу «Василия Теркина», «Родину и чужбину», «Дом у дороги», а ему — всесоюзное имя и окончательную уверенность в себе, Прасолов не мог не думать о Родине, о ее тревожном будущем. И много горького было в его раздумьях о Родине, истерзанной нашествиями, войнами, смутами, революциями, всякого рода переломами и переделками, хотя, скорей всего, он чувствовал, что есть и предстоит что-то более значительное, нежели общественные потрясения, упования и свершения, что-то особенное, высшее, что скажется на судьбе России окончательно.

Александр Твардовский, поэт истинно народный, дал образы человека, дома и родины в их естественном бытовании, в их трагических и героических началах. А что у него — о родине, о жизни, о мире? Пусть — немного. Но — сказанное честно и никому не в угоду. На шумном подиуме — искусно вертящиеся стихотворцы, готовые ставить свечку и ангелу, и бесу, пишущие обо всем и вся, то восхваляя, то отрицая, а то и вовсе изымаясь; они — как ложно зажигающиеся семафоры, пригодные ослеплять и морочить доверчивых. Он же — честен и перед читателем своим, и перед жизнью. Говоря словами Случевского — «Я хлеба не давал порою, / Но я не отравлял его»; или же недавними своими словами говоря — «Был всю жизнь в окруженье. Только не был в плену».

А круг — все уже. Редкие письма к жене. Их тягостный, не оставляющий надежд смысл темным ветром, опасными сполохами пришел издалека: он есть в стихах, дневниках, письмах пятилетней, да и ранее, и ранее давности.

*«Мне некуда больше лететь...»*

*«Через месяц мне 35. Холодно, пусто...»*

*«Сколько в жизни неблагополучия!...»*

*«Видел (сон) — часы мои стали...»*

*«...призрак Смерти прошел надо мной.»*

В последних же письмах — прощальное, гибельное до молчаливого крика. Слово бежит огонь по бикфордову шнуру! И уже не дотянуться, не пресечь. Невыносимо читать это: будто связанный, ничем не могущий помочь, ничего не могущий поделать, стоишь на кладбище, где ему, живому, роют могилу.

*«Мое послебольничное будущее — без будущего. Вот что не страшно, а просто обрывисто. Вот и все. Моя никчемность на свете уже настолько осознанна, что я явственно вижу: как я в последний раз вхожу к этим сволочам с этим вопросом — нужен ли я? — как выхожу от них, от этой партийной слизи, без отчаянья, без нужды уже в людях и в жизни. Остальное — дело секунды...»* (20 декабря 1971).

*«2 января 1972 г. Больница. Воронеж.»*

*...Все, что впереди, лишено смысла. Я вряд ли пробуду здесь столько, сколько нужно для излечения, ибо другое уже неизлечимо — сознание именно бессмысленности существования — больного или здорового — все равно.*

*Ждать мне ничего, торопиться тоже некуда — пусть все идет своим чередом — ни помогать, ни мешать не надо...»*

Остается — ровно месяц.

«Я умру на рассвете / В предназначенный час». Но час назначает Вседержитель. Когда же человек сам обрывает Богом данную жизнь, он выбирает обычно не утренний рассвет, но пасмурный день, а то и вечерний сумрак. Но не во временных градациях суть. «Я умру в крещенские морозы», — Рубцов предсказал, и уже свершилось.

Мартиролог русской словесности трагически перетекал из девятнадцатого в жестокий для России двадцатый век. Нигде и никогда не бывала прежде мемориальная поэтическая плита, Русская плита: Константин Фофанов, Александр Блок, Николай Гумилев, Сергей Есенин, Алексей Ганин, Павел Орешин, Сергей Клычков, Владимир Маяковский, Павел Васильев, Николай Олейников, Борис Корнилов, Сергей Чекмарев, Василий Кубанев, Дмитрий Кедрин, Георгий Суворов, Михаил Кульчицкий, Николай Майоров, Павел Шубин, Алексей Недогонов, Алексей Фатьянов... И недавно — Дмитрий Блынский (из прасоловского дневника: «Стихи Д. Блынского. Судьба его — вторая беда Руси»). И совсем недавно — Николай Рубцов. И после ухода Алексея Прасолова, несколько месяцев спустя, — Дмитрий Голубков, покончивший с собой в час душевной подавленности.

Никто не прожил и полувека. Кто взят войной, кто — бедой, и все — «злую ведмой — судьбой», кольцовскую строку вспоминая. Многие не дожили и до сорока, и многие — крестьянского корня.

(Какой рок избрал эту квартиру под недобрым номером 6? Друг моей молодости, уездного склада человек, зачем-то перебравшийся из глубинки в Воронеж и «определенный» именно в эту квартиру, литературно одаренный, редактор с Божьей искрой, тоже потянулся к черной чугунной рогатине трубы у потолка — пятнадцать лет спустя после ухода Прасолова.)

В тот день — последний свой день — поэт пешком прошел от Кольцовского сквера до Петровского. Без обычного резкого шага. Словно прощаясь. С почтамта отослал в Москву письмо — воспоминания о Твардовском. Затем поднялся на пятый этаж Дома книги — в редакцию газеты своей молодости. С ответственным секретарем «Молодого коммунара» поэтом Станиславом Никулиным беседовал, прислонясь к набитому бумагами и фотоснимками шкафу, не пожелав присесть. В первый раз не предлагал свои стихи. Но говорил, говорил. И то, о чем и как говорил Прасолов — весомо, ясно, спокойно, — не предвещало ничего страшного.

В вечеру он вернулся в холодную квартиру на Беговой...

2 февраля 1972 года Алексей Прасолов уходит из жизни. Стоят самые холодные часы того года. Весь месяц в плену февральских морозов...

Он никогда не заслонялся от трудного, тяжелого, испытательного. От того, чем жили люди вокруг. Но все чаще в одиночестве был, даже когда был не один.

«И никогда я не мог в ногу...»

Одинец, стерх, альбинос, он и в компании одиночествовал. Одиночество не столько житейское, сколько духовное? Скорее всего — и житейское, и духовное.

Он аристократ крестьянского рода. Аристократ не манерами, но духовной устремленностью. Правда, он не находил большого и истинного смысла в словах «аристократия», «демократия», считая их приблизительными, подмененными, опошленными политическими бранями и интригами, и сам называл их разве в противовес охлократическому натиску.

О власти Прасолов рассуждать не любил. Не для того даются встречи. Но убеждение на сей счет имел твердое и выразительное. Власть моды, рекламы, толпы,

мнения, преуспевающего в элитарной среде, еще пошлее, чем официальная власть: если одна ущемляет свободу человека, то другая — душу; а часто — и свободу, и душу.

«Сильные мира сего», политики, временщики мало занимали его. Своим невниманием он словно подчеркивал действительную незначительность их, зависимость их от принятых игровых правил, от закулис и химер, от финансовой паутины. И когда кто-либо из знакомых затевал разговор о политической фигуре имярек, он коротко обрывал: «Давай лучше поговорим о Пушкине». Иногда назывался Тютчев. Иногда — Блок...

Поэт идет один, муза его одинока, и только солнечные лучи отечественной классики, словно светносные столпы, освещают его путь.

Ему приходится надеяться прежде всего на себя. «Спешу — последним светом я в бездне исхожу» — к кому и зачем это призывание спешить? Чтобы помочь? Или, скорее, чтобы только увидеть миг драмы? Ибо помочь — уже нельзя. Ибо — «...Я ищу опоры в бездне, окружающей меня». Выходит, и бездна — жизнь, схватиться бы руками за колкий режущий воздух...

Есенин сказал, что он последний поэт деревни. Сказал в двадцатом году двадцатого века, когда крестьянский мир был разворочен и вздыблен, но еще велик численностью народа и деревень, внутренней крепью.

Прасолова же голос — голос с крестьянского пепелища, поэт — очевидец конца крестьянского мира. Русского крестьянского мира. Но исходы прасоловской трагедии — и социальные, и национальные, но и более всего — духовные.

Прасолов видит не только кончину деревенского уклада на малой родине, не только русские руины, но и грядущие катастрофы земного шара, смерть солнца, темную жатву бесконечных времен.

Он поэт «неотвратимости ночи», поэт грозных сполохов, ее предвещающих. «Чтоб не ослепнуть на земле», он наказал душе прозреть в небесных сферах мироздания, и она побывала там, но углядела ли то, что должна была увидеть? Чтоб благодарно просиять?

Каков размах! Словно некий фантастический покоритель земли и неба походя совершает нешуточные свои дела или предписывает их, или же объясняет — «Сближаю небо и звезду»; «Руками раздвигаю вечер»; «Коснись ладонью грани горной»... А хребты и отроги — всего лишь «грандиозный слепок того, что в нас не улеглось».

И за такое дерзкое мирочувствие, то ли язычески-былинное, то ли технократически-обезбоженное, надо было держать ответ. Ответственный за каждое слово, он и готов был держать ответ. Но — «отчитаться перед Богом» в обезбоженном веке?..

Он отчитался сердцем.

Так рано. Так неумолимо. Полагающееся ему земное время, не до конца прожитое, отдав смерти и жизни иной. А время он чувствовал постоянно и тревожно. Удар сердца — удар метронома. «И с жестокой отчетливостью ощущаешь время, бегущее, как вода сквозь пальцы...»; «Бродил по минувшим временам, и ей-Богу, кроме развалин, там много нашего добра»; «Время — это мы, отошедшие дальше. И все».

Смотрю на лицо молодого Прасолова с пытливыми, строгими, искренними глазами. Глазами, не допускающими даже тени намека на позу, неправду, художественное лукавство. Как много эти глаза, это лицо обещают, как много выстрадают душа и сердце!

И ни к чему задаваться вопросами — почему равнодушен был к своему житейскому, почему сжигал себя, почему рано ушел.

Ушел он рано, но свой Путь прошел до конца.  
И как завещание. Живи на земле так, чтоб видеть Небо!  
«Дорога все к небу да к небу...»

## ПАМЯТЬ — ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

Не вскользь, памятно скажем слова благодарности ушедшим и живущим — всем, кто так или иначе был соучастником прасоловского мира, кто понимал и понимает поэта, — его честное сердце, строгую душу, пронизательный разум. Его высокий дух. Первое и великое спасибо — матери поэта. И малой родине. Спасибо всем проселкам и местам, где он побывал, — пусть даже и горестным, — поэт и там жил жизнью живой! Спасибо тем, кто помог ему на первых порах литературной деятельности, кто помогал в публикации его строк, издании его книг и кто благодарно — устно и письменно — отозвался, сказал о его жизни и творчестве, кто родственно и душевно был с ним рядом в трудные и горькие годы жизни, кто проводил его в последний путь.

Осенний день. Юго-западная окраина Воронежа. Кладбище.

Прасоловская могила — в удалении от печальных принимающих ворот — в глубине кладбища. Прямые дорожки, разделяющие квадраты, железные контейнеры, заброшенные пришедшими в негодность венками, черными лентами, сухими ветками. Под кронами — пестрота оград.

В его ограде — чугунная плита-надгробье, на плите — фамилия, имя, отчество, даты жизни и смерти. В ограде — барбарис, острый, колючий, как образ-символ. Море сосны вокруг. Словно и сосна нездешняя, росошанская, в молодости им и высаженная на росошанских песках, сошлась здесь. В прощальном единении и сошлись. На придонской, воронежской, русской земле. На божьей ниве.

Городские гулы сюда почти не долетают. Редкие машины, тихие голоса скорбящих. Тишина — любимое, сокровенное прасоловское слово. «Дай тихо подойти и тихо назваться именем своим...»

Тишина...

Творчество Алексея Прасолова, как всякое значительное, не застывшее в своем часе явление, духовно соучаствует в нынешней нашей жизни и продолжает путь в будущее.

Очевидное: без поэтического слова Алексея Прасолова, которого в свое время заметил, высоко оценил и представил читающей России ее великий поэт Александр Твардовский, немыслимо во всей полноте увидеть и понять образ отечественной поэзии двадцатого века. Столь же очевидное: творчество поэта по-своему не только отобразило сложное, драматическое движение личности, народа, страны и мира в двадцатом веке, но в чем-то оказалось пророческим, адресованным будущему: в контрастах, разломах, противоборствах как человеческих судеб, так и земных, да и космических сфер, запечатленных в его слове, угадан век двадцать первый, в самом начале которого замаячили тени и сполохи новых социальных, религиозно-этнических, техногенных всемирных потрясений.

Хочу повторить свои слова о Прасолове, сказанные давно: чем дальше он от нас в своем часе физического ухода, тем ближе духовно. Тем ближе его поэтическое наследие, ибо свойство истинной, серьезной поэзии — укрупняться со временем, становиться необходимой многим.

Уходит неглавное, мелкособытийное, плоскобытовое, случайное. Остается Слово. Прасолов никогда не гремел речами, не спешил к микрофону и на телеэкран, не спешил «заявиться». Не размениваясь на суетное, он пронес свое слово по жизни верно и строго.

Ныне о нем говорят провинция и столица, к его творчеству обращаются за рубежом. А у нас, в Воронеже?

Есть мемориальная доска на бывшем доме губернатора (проспект Революции, 22), где после войны располагался «Молодой коммунар» и где Прасолов работал в 1953–1955 годах. Мемориальная доска — словно бы свидетельство того, что город взял поэта в свои верные и вечные спутники. Есть улица имени Алексея Прасолова. Проходят прасоловские встречи, появляются статьи о творчестве поэта, строка Прасолова не редкость на страницах местных изданий. К семидесятилетию поэта его имя присвоено одной из воронежских библиотек. Его имя носит библиотека в Россоши...

И все же... Как творческий мир неисчерпаем и не имеет последней точки, так и человеческая память завершающего шага не имеет: она живет и углубляется в каждом новом поколении. По крайней мере, так должно быть.

Убежден, пришло время поставить памятник Алексею Прасолову на воронежской земле. Другие литературные края нашего Отечества благодарно воздали должное своим рано ушедшим сыновьям-поэтам. На вологодской земле воздвигнут памятник Николаю Рубцову, на владимирской — Алексею Фатьянову, на близкой к нам черноземной Орловщине — Дмитрию Блынскому...

Не обязательно это должен быть монумент, скульптурное изваяние во весь рост. Еще в позапрошлом веке из мрамора высеченный бюст Кольцова, небольшой, исполненный изящества, радует взоры уже стольких поколений воронежцев и гостей города. Художественная убедительность достигается вовсе не массой камня или бронзы.

У Прасолова было сложное отношение к цивилизации, прогрессу, городу. И все же о нашем городе он (не сторонник конкретного, предметного, краеведческого в поэтической строке) сказал в стихотворениях «Вечный огонь», «Чернавский мост», «Аэропорт перенесли...»

О Воронеже он писал:

И вел нас город, вставший на холмах,  
В торжественной раскованности русской...

Должен быть (и, верю, будет) на нашей земле памятник Алексею Прасолову. Поэту-гражданину. Поэту-лирику. Поэту-философу, достойно продолжившему традицию высокой поэзии мысли — традицию Боратынского, Тютчева, Заболоцкого.

